

Слава Лунич



Небесный Этюд

Слава Лунич

Небесный этюд

<https://litres.ru/74265334>

SelfPub; 2026

Аннотация

Историю Арсений считал мертвым грузом. К чему знать подробности прошлого? Они не помогут здесь и сейчас стать военным летчиком. Но у судьбы другие планы.

1942 год, он очнулся в кабине "лакированного гроба" под обстрелом мессеров. Теперь он младший лейтенант Соколов, который должен заново научиться летать, сражаться и выживать в мире, где каждый вылет может стать последним.

Небо. Скорость. Чужое имя. И тайна, которую нельзя открыть никому.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	18
Глава 3	33
Глава 4	46
Глава 5	62
Глава 6	74
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Слава Лунич

Небесный этюд

Глава 1

Монотонный сухой голос нашего «историка» тянулся, как кисель, что нам подают на ужин. И-16 в тридцать девятом на Халхин-Голе... Я слушал вполуха. Ну вот зачем нам знать, что там делали эти несчастные «ишачки» сто лет назад? Это спасет нам жизнь? Как бы не так. А если выпендриваться своей правильностью и всезнанием, как Леха Ковалев, можно и вовсе на неприятности нарваться.

Я сидел у окна на любимом месте в третьем ряду. Дело не в видах за окном, просто свет в это время удобно падает. И мне это на руку. В общей тетради на автомате строчил конспект: имена, даты. И придраться не к чему, даром что думал о другом. Тонкий, в клеточку, блокнот в твердой обложке, затёртый по углам, лежал на коленях. Вот что для меня реально важно, а может даже и полезно.

Су-57 в развороте. Штрих, ещё один, навел аккуратно тень под фюзеляжем. Я вёл линии плавно, чувствуя машину даже здесь, в этой духоте. Крыло, наплыв, сопла. Я всегда рисовал только то, что летает. Еще в детстве отец боялся, что из всей авиации я буду любить только наброски самолё-

тиков. Но это он зря...

- Воронов!

Я поднял голову медленно и естественно, чтобы не выдать волнение.

- Я.

- Повторите, о чём я говорил.

- Тактика истребителей в первый период войны, товарищ подполковник. – Уверенный голос, честный взгляд. – Об устаревших схемах, звене-тройке, отсутствии радиосвязи на большинстве машин.

Подполковник помолчал пару секунд с прищуром. Будто он что-то такое заметил во мне, но придраться было не к чему. Слуховая память меня еще ни разу не подводила. Иногда я спрашиваю себя, зачем мне помнить то, что не пригодится в деле, но голове не прикажешь.

- Садись. И блокнотик свой спрячь-ка получше. Еще раз увижу, отберу.

Леха за спиной хмыкнул. Стереть бы его дурацкую ухмылку с нахальной рожи. Наш мистер Идеал не упустит случая позлорадствовать. Я резко, словно получил приказ, кивнул препода и опустил взгляд на истребитель. Часики тикают, и, похоже, я не успею доделать тень.

История – это сущее наказание. Самый бессмысленный предмет здесь. Некоторым, вроде Сереги Бойко, она только жизнь портит, так как даты у него в одно ухо влетают, в другое вылетают. И что? Он из-за этого хуже как летчик по срав-

нению, например, со мной? Так-то хуже, но не настолько, как мне бы хотелось.

Аэродинамика – вот это да, это реально ощутимые величины, которые в воздух поднимают. Без метеорологии тоже никуда, от неё жизнь зависит, и не только летчика, пожалуй. А вот кто там в каком году на чём летал, и как у него звено строилось... Зачем? Устаревшим гниющим экспонатам место в музеях, всякие чудики, любители старины такое ценят. Мою жизнь это никак не может изменить, просто информация для галочки.

Дома в Москве было хуже. В гостиной как заходишь сразу встречает прадед. В золоченой раме над камином портрет в полный рост. Молодой, с орденами, словом, образцовый предок. И отец, который из раза в раз повторял: «Ты хоть знаешь, кем был твой прадед? Ты историю семьи-то помнишь?» Не захочешь, а запомнишь. У прадеда было кресло свое особое, я его про себя еще тронем называл. И вот сижу я рядом на низком стуле и в сотый раз слушаю эпопею военных лет. Так хотелось на улицу, к пацанам мяч погонять, на турниках поболтаться. Но нет, вылеты, бои, какие-то фамилии. Повторенье – мать ученья. И перебить никак - влетело бы от бати. Так и сидел, кивал.

Звонок. На последних словах подполковника я захлопнул тетрадь. И через минуту забыл про историю совсем. На этот раз потерпеть занудный поток дат и имен было несложно, ведь сегодня день первого вылета. Наконец-то в воздух на

боевом!

Небо успело очиститься после трех дней дождя. Зря мы боялись, что вылет перенесут. Именно о таком я мечтал, когда сидел за теорией и рисовал самолёты под партой. На страницах блокнота не хватало лишь одной детали – меня. «Но сегодня ты возьмешь этот рубеж», - говорил я себе.

Инструктор со скучающим видом прошелся вдоль нашей шеренги:

- Не тушуйтесь, ребят! Машина сама летит. Вы ей, главное, не мешайте.

Я усмехнулся про себя. Что-что, а это я умел. На тренажёре лучшие показатели на курсе. Руки знали, что делать, ещё до того, как я успевал осознать задачу и сделать выбор. Влез в кабину, пристегнулся, прошёлся взглядом по приборам. Все в порядке. Так, теперь пуск...

Земля ушла вниз, качнулась и начала превращаться в лоскутное одеяло - квадраты полей за Краснодаром, серая нить дороги, блеск моря. Я словно впервые вдохнул полной грудью. Вот ради чего вся эта теория, наряды, подъёмы ни свет ни заря. Помню, когда кому-то из нас приходилось туго, однокурсники неизменно подбадривали, мол, столько-то дней до полета. Все было ради этого мгновения, когда понимаешь «Это мой дом».

Я набрал высоту. Прошел дальше ровно, чисто, красиво, без единого лишнего движения. Крылья – мои грифели, небо – мой холст, а я сам художник своей судьбы. Я летел, и весь

мир для меня превратился в кабину, руки на штурвале и «одеяло» внизу.

Перемену погоды я заметил машинально, и столь же машинально удивился – в прогнозах такого не было, и в жизни ничего подобного не видел: тучи словно не гнало ветром издалека, а вывалило прямо пачкой, готовыми. С юго-запада наползла тень, будто вечер наступил на шесть часов раньше. Ветер пихнул машину в бок, потом ещё, и стрелки на приборах затанцевали. Это еще не повод паниковать. Если боишься ветра и малейшей смены погоды, в небе тебе не место.

- Воронов, разворот на курс сто восемьдесят, идёшь домой. - Голос в наушниках стал резким. - Слышишь? Фронт идёт, не успели предупредить. Только давай спокойно.

- Понял, разворачиваюсь.

Приказ есть приказ. Я положил машину в разворот. Жаль, что так быстро обратно. Но я зайду на посадку красиво, без суеты. На метеорологии нам объясняли, что грозовой фронт, шквал – это не страшно, если не лезть в облако и не растеряться.

Но облако, вернее, сизая туча сама поднялась навстречу. Она выросла перед носом неожиданной, исполинской стеной, живой, бурлящей, со сполохами молний внутри. Обогнуть ее я не успевал физически. Машину подхватило, кинуло вверх так, что зубы клацнули. Приборы тут бесполезны. Где земля, где небо, стало не понять, серая муть облепила все вокруг, и я видел лишь слепящие вспышки.

- Воронов! Курс! Держи...

Голос захлебнулся треском. А потом полыхнуло снова. Но не сбоку, а везде разом. Белый разряд ударил в самолёт, прошёл насквозь и через меня. Глаза выжгло изнутри, и последнее, что я почувствовал, судорога и натяжение ремней. Мир схлопнулся в одну ослепительную точку. И погас.

Первое, что вернулось, грохот. Не раскаты грома. Другой рваный, лающий шум где-то совсем близко «та-та-та-та». И запах. Гадкая смесь гари, пороха, горячего железа и бензина. Меня трясло немилосердно, как в каком-то припадке.

Я открыл глаза. И не понял ничего. Все кругом чужое. Циферблаты приборов устаревшие, круглые, тусклые. Ручка под ладонью тоже другая, толще, грубее. Снаружи не чистое небо, но и не гроза. Все куда хуже. В дыму полосы трассеров, пересекающие друг друга. И в этом дымном аду самолёты. Угловатые силуэты, которые я видел раньше только на фото, с чёрными крестами на крыльях. Они возникали то тут, то там и атаковали словно осиный рой.

Я сделал вдох и не смог выдохнуть, живот неприятно скрутило. В мозгу билась мысль «Этого не может быть! Да где же я?».

- Сокол, прикрой! Справа заходят!

Голос в наушниках хриплый, непохожий на нашего инструктора. Он, что, ко мне обращается? Тело среагировало само – приказ есть приказ. Так, он сказал справа. Ну да, там из дымной кутерьмы вывернул тонкий поджарый истреби-

тель. Кресты на крыльях, на носу всполохи огня – стреляет. Атакует. Уж не того ли, кто просил прикрыть?

Я снова начал задыхаться, захотелось ущипнуть себя, заорать, проснуться, наконец. Это должен быть сон. Молния шандарахнула меня крепко, и я в палате, в состоянии бреда. Это пройдет, надо только подождать и не мешать рукам, которые действовали на автомате.

Ладонь сжала ручку, нога втопила педаль. Действия привычные, но чувствуются иначе, будто тело стало чужим. Бросил машину вправо и вниз, в разворот и наперерез. Тысячи часов на тренажере с высшими результатами. Я чувствую нужный угол упреждения, знаю, куда ведёт скорость. Машина слушается непривычно-плохо, но, пусть все вокруг иное, плевать, важно лишь одно. Враг - вот он. А свой - вон там.

Я поймал угловатый силуэт в перекрестье. Довернул чуть-чуть, на волосок, беря упреждение. Это было сотни раз в училище на тренажере. Надо просто сделать дело. Просто уничтожить противника.

Я вдавил гашетку, машину затрясло от отдачи. Примешавшийся к реву мотора грохот пулемета бил, казалось, не по ушам, а по самому естеству. Линия трассеров протянулась ко вражескому, не могущему существовать в XXI веке за пределами киносъемок и музеев вражескому истребителю и влезли ему в корпус, в мотор и прочертили линию под крыльями с крестами. Я видел это все словно в замедленной съемке, будто время услужливо растянулось, давая мне запомнить

картину в деталях. Запомнить, чтобы никогда уже не забыть.

Из-под капота врага вырвался клуб чёрного дыма, потом пламя, и «мессер» (откуда-то всплыло это слово) занесло в сторону, он кивнул носом и сорвался вниз, разматывая за собой жирный дымный хвост. Секунду я просто смотрел. Я сбил его. «Хладнокровно отнял чужую жизнь», - шепнуло что-то внутри, а я быстро отогнал эту мысль. Враг. Либо уни-чтожишь врага, либо он уничтожит тебя.

- Молодец, салага! Живём! - заорал тот же хриплый голос в наушниках.

И в нём была такая дикая радость, что у меня самого что-то дрогнуло внутри. Я спас человека, выполнил приказ. Уничтожил врага. Это – хорошо.

-Давай не спи, за мной, набираем!

Думать было некогда. И это, как ни странно, помогало, иначе я бы, наверное, сошел с ума в этом хаосе. Пристроился за ведущим. Он выводил нас вверх, прямо к солнцу. Ну да, очевидно. Набираешь высоту - получаешь преимущество, не сможешь удержать ее – провал или, как почти случилось сейчас, смерть. Я ровно шел следом. Чужое тело слушалось всё увереннее, будто приходило в себя после спячки.

С набранной высоты нам открылась карусель хаоса. Свои и чужие, штук пятнадцать машин, все они вращались, набирали высоту, ныряли. «Вышибалы» в небе. Только тут прямое попадание– смерть, и кто-то уже выбыл навсегда. Чей - сразу и не разобрать в дыму. Небо, кажущееся с земли таким

бескрайним, здесь было очень тесным.

- Пара сзади, снизу! - я сам не заметил, как рявкнул это в эфир не своим голосом.

В прямом смысле – голос был чужим, и что-то внутри, придавленное адреналином и штурвалом в руках, попыталось об этом подумать, но тут же стыдливо забилося поглубже - двое «мессеров» подбирались к ведущему снизу, в самое брюхо, а значит сейчас есть дело важнее.

- Вправо жми, вправо! – продолжил я кричать.

Наш летчик среагировал мгновенно. Рванул в сторону, и трассеры вхолостую прочертили воздух. Не успел я подумать, что надо двигать за ним, как на автомате вырулил навстречу нижней паре врагов. Да это же самоубийство какое-то! Но я ведь уже делал так, и всегда срабатывало – на тренажере, где ничем не рисковал, кроме пустой траты электричества.

Прокатило! Оба противника шарахнулись в стороны за миг до прямого столкновения. Один из них вывел «мессер» кверху и подставил на секунду нижнюю часть фюзеляжа. Мне этого хватило, чтобы дать короткую очередь. Сбить не удалось, но я явно неплохо его задел – вон, куда-то на запад летит, снижаясь и оставляя за собой дымный след. Лучше, чем ничего.

- Уходят, гады! - надрывался эфир. - По домам! Горючка почти в ноль!

«Мессеры» сдались на время и постепенно растворялись в

дымке над горизонтом. Небо вдруг опустело и расширилось, и даже дышать стало легче. Вокруг - только свои ЛаГГ-3, тупоносые, с красными звёздами и неуклюжие на вид. Мы подтянулись друг к другу и пошли назад.

Теперь, когда бой стих, от попыток осознать происходящее меня начало трясти по-настоящему. Дыхание участилось, я глянул на приборы – стрелки и цифры начали расплываться. Пульсирующая боль сжимала виски, кабина, казалось, наполнилась мелкими черными мушками. «Это все нереально, -я отчаянно цеплялся за эту мысль. –Просто валяюсь в отключке, и мне снится этот бред».

- Сокол, ты как там? - устало прохрипел ведущий. - Цел? Машина в порядке?

Я сглотнул. Горло пересохло. Пусть это и не правда, я должен ответить.

- Цел, - сказал я чужим, более низким, чем у меня, голосом. - Да, вроде.

- «Вроде»... - хмыкнул тот. - Домой держи, за мной. Дотянешь?

- Дотяну.

Не могу же я отключиться. Прадед любил повторять «Мы делали дело, не смотря ни на что. Вот такие были, стойкие и крепкие как скала». Хотя мне и не было дела до его историй, стойкость я всегда уважал и с детства мечтал быть таким.

Земля вспухла навстречу. Посадочная полоса только называлась так. А по сути это укатанное поле. Самолет слегка

подбросило на пробеге, повело чуть в сторону. Но сил хватило удержать его и выровнять как надо. Мотор напоследок чихнул и стих. И вместе с этим выключились все остальные звуки. Осталась только тупая пульсирующая боль и картинка, которая в такт боли то размывалась, то обретала болезненную четкость.

Много людей в странной форме и в замасленных комбинезонах устремились ко мне. Кто-то вспрыгнул на крыло, откинул фонарь, и в лицо мне дохнуло горячим ветром. В воздухе пахло пылью и полынью.

- Живой! Гля, вернулся наш салага!

Какой-то парень, внимательно заглянув мне в лицо, схватился за плечи и потянул наружу. Заметив, что ноги меня не держат, подозвал на помощь еще ребят. Я сполз с крыла и повис на чьих-то плечах. Чумазые улыбающиеся лица качались передо мной, словно мы были не на твердой земле, а в море. Я никого из них не знаю, но важно лишь то, что они свои.

- Да, он сбил того! Сам видал, как лихо его приложил! - тараторил рыжий парнишка, совсем мальчишка, конопатый. - Первый вылет - и сразу сбил, а?! Вот тебе и тихоня! В тихом омуте...

- Погоди, дай дух перевести человеку, - пробасил кто-то постарше.

- Сотрясло тебя, паря, - сказал третий, разглядывая мой затылок. - Явно приложился башкой-то. Ладно, до свадьбы

заживёт!

Я стоял, качаясь, и смотрел на них, все еще надеясь заметить знакомые лица. Таких аэродромов я в жизни не видел, как и такого количества ЛаГГ-3, стоящих в капонирах, накрытые сетями. Только чистое, безмятежное небо внушало покой. «Все хорошо. Все будет хорошо. Это пройдет», - успел подумать я. И земля пошла набок, уже норовила ударить меня в лицо...

- Э, э, держи его!

Две пары рук подхватил. Мир дернулся, мигнул и снова уже привычно закачался. Меня куда-то поволокли, ноги уже безвольно болтались, чертя неровные полосы в пыли. Голоса гудели вокруг.

- А он молодец!

- Пусть отойдёт немного.

- Да, отлежится, и все путем будет.

Наконец, я оказался на жёсткой койке. Пахло карболкой, йодом, чем-то ещё застиранным, казённым. Я лежал на спине, пытаюсь сфокусировать взгляд на дощатом потолке. По краю щели между потолком и стеной полз шмель. Видимо, я все-таки отключился по пути сюда. Не помню, как мне делали повязку. Но затылок уже болел меньше. За стеной раздавались шаги, звон посуды, доносились обрывки разговоров. Про то, что «завтра, говорят, опять с рассвета». Про какого-то Кольку, который «отлежится, куда денется». А это как будто про меня. Я зажмурился не в силах выдержать про-

исходящее. «Сейчас приду в себя, - думал я упрямо, отчаянно сжимая веки. –Я буду в госпитале в Краснодаре. Это просто молния, небольшая авария. Мне видится всякое из-за сильных лекарств. Так что, скорее всего меня поместили в реанимацию. Я должен очнуться. Сейчас я это сделаю. Раз, два, три».

Открыл глаза – доски, тот же шмель, только уже не ползет, просто сидит. Снаружи доносится рокот прогреваемого мотора. Не сон, и это пора признать. Во сне не может быть таких отчетливых запахов, шума и уж точно не должно ничего болеть. И обращаются ко мне иначе. Кто же я теперь? Где я? Судя по «мессерам», по звёздам на крыльях наших, по форме парней вокруг выходило что-то невозможное. Слишком похоже на рассказы, до которых мне не было дела.

Война. От этого понимания мне в живот словно вдвинулось что-то ледяное, и озноб прошел по телу. Тут все по-настоящему. Как в учебниках и прадедовых байках, только теперь не получится со звоном выйти из душной аудитории или дожидаться, пока прадед договорит и закончит своим коронным «Вот так это было». Я внутри, в чужом теле, и мой путь лежит в небо, где стреляют насмерть.

Я глядел в потолок и первый раз в жизни чувствовал, что меня застали врасплох. И я не знаю, как жить дальше, что теперь будет со мной. Не «как сдать зачёт», не «как получить увольнительную». А как выжить еще один день, а следом еще и еще. И как мне, Арсению Воронову, которому не

нужна эта история, скучная и бесполезная, прожить эту самую историю.

Шмель дополз до небольшого оконца и улетел. А я остался.

Глава 2

Разбудила меня муха. Села на губу, поползла, и я мотнул головой. В затылок будто вколотили острый горячий гвоздь. Я зашипел сквозь зубы и разом всё вспомнил. Не сон. По-прежнему не сон.

Дощатый потолок, щель, вчерашний шмель, только теперь их двое, деловито гудят. Хата, отведенная под санчасть, на краю станицы, где расположили наш полк. К прежним запахам примешивался дым самокрутки и кислая овчина. За белёной стеной кто-то ходил, ложка звякала о котелок. Второе моё утро здесь, если считать с той минуты, как меня стащили с крыла и уложили на койку. Скоро вставать, идти к людям, которых я знать не знаю, и как-то не выделяться. А зацепиться не за что.

Я лежал и соображал. Соколов Николай, младший лейтенант. Это я теперь. На это имя отзывалось чужое тело, и на «Кольку», и на «Сокола». Значит, надо привыкать. Только вот беда: про этого Соколова я не знал ровным счётом ничего. Откуда родом, кто у него в друзьях, как звать механика, что он умеет, и чего нет. Пустота. Мне достались тело, форма и имя, а инструкцию к ним забыли приложить.

Одна неверная фраза, и придётся объясняться. А что скажешь? Что ты курсант из Краснодара, из двадцать пятого года, пороха ещё не нюхавший? Не поверят. Скорее решат, что

крыша поехала от удара, и определяют куда следует. Или, учитывая непростое время, могут и еще что похуже подумать.

Башка раскалывается немилосердно от любого резкого движения, это меня и выручит. Приложило-то крепко, пол-аэродрома видело, как меня выволакивали из кабины и по сути несли в санчасть. Вот и буду теперь на ушибленную голову всё валить. Однажды после разговора с отцом, когда я не сдержался и выдал что-то дерзкое, мне повезло свалиться с лестницы. Не сильно серьезно, но когда отец подостыл и пришел меня отчитывать, симулировал я без зазрения совести.

Ещё в полубреду я решил, что если полезут с расспросами, хвататься за затылок и кривиться. Благо бинт при мне, от такого не будут ожидать многого. Пусть думают, Кольку перетряхнуло, отойдёт. Только фокус этот ненадолго. День-другой, потом спросят по делу.

Едва я успел поправить повязку и настроиться, дверь стукнула, и в хату влетел тот самый рыжий, конопатый, что вчера тараторил про «первый вылет, и сразу сбил». Совсем мальчишка, лет девятнадцати, лапоухий с открытым добрым лицом.

- Живой! - обрадовался он. - Я ж говорил, Сокол крепкий! На, держи!

Он сунул мне ломоть белого хлеба с маслом и половину плитки шоколада. Про второй завтрак у летчиков я слышал ещё там, на «истории», краем уха. А что нам полагаются мас-

ло и шоколад, узнал только сейчас, и новость была приятная.

- Спасибо, - сказал я осторожно.

- Да чего там! - Он плюхнулся на табурет, и понеслось. - Наши вчера ещё раз слетали, без тебя. Голубь пару «худых» гонял, да не достал - ушли за реку. Батя серчал. А дядя Кондрат твою ласточку всю ночь латал. В правой плоскости дыр что в решете. Ты как дотянул-то? Слышь, а правда, что тебя ещё до боя молнией шибануло?

Я чуть не подавился маслом. Молния. Значит, что-то видели - хотя что в горячке боя разглядишь - или сам Соколов сболтнул в эфир перед тем, как в кабине оказался я. Ну, поехали.

- Не помню, Ерёма, - пробурчал я. - После того боя половина вылетала напрочь. Будто даже своих не всех узнаю.

Имя вырвалось само. Вчера кто-то его окликал, когда помогали мне из кабины выбраться. Парнишка расплылся:

- Ну ты чего! Меня-то ты помнишь. Мы ж из одного выпуска, оба сержантами прибыли. Тебя, вон, в младшие уже произвели... - и вдруг хмуро, едва не сердито, продолжил: - Ты, слышь, давай без самодеятельности. Из нашего набора уже трое... того. Пантелеев вон на той неделе не вернулся, земля ему пухом. Так что ты это... держись за Голубя.

Он мотнул головой, будто понял, что не стоит меня сейчас этим грузить, и подскочил:

- Ладно, лежи. Я до вечера в наряде. Захарыча по пути к тебе встретил, он велел: встанешь, сразу дуй к нему.

Кое-что прояснилось. Значит выпустились вместе как сержанты. Однозначно это был ускоренный летный курс, в то время только так и готовили. «Ты теперь как шпион среди своих. Смотри, слушай, помалкивай», - велел я себе. Хлеб с маслом умял, шоколад сунул под подушку на потом.

К полудню заглянул Кондрат. Механика-то грех не узнать. Руки чёрные, в ссадинах, копоть намертво въелась. За сорок, усы книзу, взгляд тяжёлый из-под бровей.

- Ну здоров, командир, - пробасил он, присаживаясь на край **табурета**. - Напугал ты меня. Думал, всё, отлетелся парнишка. Я твою машину принял, видел, как ее справа продырявили.

- Здравствуйте, дядя Кондрат.

- «Дядя»... - Он хмыкнул в усы. - Ты её чуть не угробил. Я над ней третий месяц трясусь после прошлой починки. Помнишь, как дело было? То-то же! Ладно, тогда не справился, растерялся, это со всяким бывает. А тут тебе захотелось в героя поиграть.

Он ворчал, а я понимал, ворчит не из-за машины. Точь-в-точь как мой прадед, когда я мальчишкой лез, куда не надо, тот бранился, а в глазах забота и страх.

- Тянуло влево, - вырвалось у меня. - На посадке. Я еле выровнял.

Сказал и обмер. Он же в машине каждый винт наперечёт знает. А если там все идеально, и никаких заносов быть не может? Вот и выдал бы себя с потрохами.

Но Кондрат только бровь поднял:

- Балансир до вылета не успел подправить. Ишь, приметил. А раньше молчал, летал как летается. - Он прищурился.
- Память, значит, отшибло, а чутьё, наоборот, прорезалось?
- Вроде того, - выдохнул я.

Едва не спалился на ровном месте. Хотя откуда мне знать, как этот Соколов летал раньше. Может он вроде Димки Ковалева, который и на тренажере едва понимал, что к чему. Кондрат вытер руки о ветошь, помолчал, резко выдохнул и обронил себе под нос:

- Вот ещё напомним тебе. Бриться перед вылетом не ленись. И при мне чтоб не смел ляпнуть «последний вылет». Только «крайний». У нас Сёмушкин по молодости брякнул, и все, не вернулся с того «последнего».

Я кивал. Приметы эти в детстве от стариков слышал. Считал, что глупости это все, сказанные для красного словца. Не может серьезный военный летчик в такую ерунду верить. А тут гляжу, люди всерьёз верят, и лётчики, и механики. Не мне их переучивать. Сказано «крайний» - буду и я говорить «крайний».

Наутро военфельдшер - пожилой, с красными от недосыпа глазами - разрешил вставать. В небо ни ногой, а по земле ходи, коли башка дюжит. И правда стало уже сносно, только резко вертеть головой не стоило. Я натянул чужую, выгоревшую добела гимнастёрку, влез в сапоги и вышел.

С порога аэродром меня впечатлил простором и суетой.

Укатанное поле, по краям капониры, обвалованные землёй, и в них под сетями машины. Тупоносые ЛаГГи под сетями, зелёные, в рыжих подпалинах от выхлопа, звёзды на бортах. Воздух прописался бензином, нагретым на солнце железом и пылью. Похоже, без нее никуда. В училище, она росла по всему периметру забора.

Откуда-то из-за хат тянуло печёным хлебом, значит, там кухня. На дальнем краю кто-то газовал мотором на пробу: тот взвояет на высокой ноте, осядет, и опять. Кондрат отыскался у капонира по локоть в моторе моей же машины. Пальцы у него как сосиски. А по железу порхали на удивление ловко. Я представил его за роялем и прыснул. Ладно, соберись.

- Раз ходячий, держи. - Он, не глядя, сунул мне ветошь. - Свети, подавай, чего скажу. Помощничек.

Я держал, подавал и пялился во все глаза - жадно, по-настоящему, потому что это железо стало теперь моей жизнью. М-105 с водяным охлаждением. Кондрат занялся радиатором. Даже мне было очевидно, что ремонту он не подлежал. Осколок снаряда пробил его в ладони от бензобака. Механик тыкал чёрным пальцем: тут перкаль заплатой взялся, да и фанеру повело от перегрузки.

- Ты его в пикировании не рви, - приговаривал он, утягивая хомут на патрубке. - Забыл, что он не железный? Дельта-древесина да фанера просто не выдержат. Шмитты легче, проворнее. В лоб с ним биться - дурь полная. Сверху заходи.

Пожалуй, верно, не стоит больше играть в камиказде. Не факт, что если полягу здесь, меня перекинет обратно.

В перерыве, пока моя помощь не нужна, решил пройтись. Надо ловить любую возможность и впитывать новые сведения. Чуть поодаль оружейники возились с пулемётами. Снятые и разобранные, они лежали на брезенте, тускло отсвечивая смазкой. Немолодая женщина крепкого сложения в промасленной телогрейке ловко продёргивала ленту, набивала её через машинку (бронебойный, зажигательный, трассер). Клава, как я потом узнал, вполголоса кляла заевший звенник, но работала шустро. Рядом парень протирал ствол, дул в казённик. Пусть в небе бьется летчик, но от вооруженцев зависит немало.

А от опушки долетало «вжик-вжик», потом сухой треск. Двое бойцов свалили сухую иву и взялись за двуручную пилу, третий колол здоровые поленья на более мелкие. Ухал колун, поленья разлетались надвое. Дрова тут шли на всё - на кухню, на пекарню, на баньку. Один, приметив, что я стою столбом, кивнул на второй колун: чего, мол, глазеешь, разомнись. И я взялся, сам не ожидал. Первый чурбак раскрыл вкривь, колун застрял, боец загоготал.

- Не силой, а с потягом, и целься в трещину, - показал он.

Со второго пошло. Тюк - половинки врозь. Тюк - ещё. В затылке поднывало, терпимо. Колешь себе чурбаки, и никто в тебя не палит. Хорошо. Намахал целую охапку, пока Кондрат не рявкнул, что помощник ему нужен у мотора, а не в

дровосеках. Ладони припухли и покраснелись. В Краснодаре мы штурвал крутили, а не колун. Ну да ничего.

В полдень построение. Полк выстроился на краю поля безо всякого парада, кто в чём. Вышел старший политрук Гуреев с газетой и полевой сумкой. Сперва дал сводку Совинформбюро. Читал ровно, как профессиональный ведущий новостей, а от слов всё равно делалось не по себе. На юге враг пёр к Дону, наши откатывались, рубеж за рубежом. В излучине продолжались тяжёлые бои. Я-то наперёд знал, чем оно под Сталинградом обернётся. А они нет. И у меня ни с того ни с сего сдавило горло.

Потом Гуреев сложил газету, не спеша убрал в сумку и вынул другую бумагу.

- А теперь приятное, - торжественно со слабой улыбкой произнес он, и по строю прошёл шумок. - Приказом по части, за успешные боевые вылеты и проявленное мужество...

Голубеву вручили орден Красного Знамени. Принял коробочку, козырнул скупой и шагнул обратно в строй. На сухощавом лице ни один мускул не дрогнул, в глаза ожна лишь усталость. Двое сержантов горделиво выступили, когда им объявили по медали «За отвагу». Видно, первые награды. А Ерёма рядом сиял, будто это ему навесили. За своих радовался добряк и верил, поди, что до победы рукой подать. Будет она, но не так скоро, как тебе мечтается, парень.

Я хлопал со всеми, и до меня дошло, что уже слышал эти фамилии, только подробностей не помню. Прадед со своего

«трона» рассказывал о сослуживцах. Тогда они для меня ничего не значили. И вот вокруг живые, руки в мозолях, ноги обкусаны, ордена на застиранных гимнастёрках. Скучные байки, ага.

- Соколов! - окликнул Гуреев, когда строй уже ломали. - Тебе письмо. С неделю валялось, пока ты по небу гонял да отлеживался.

И протянул мятый серый треугольник со штампом полевой почты и лиловой печатью цензора. Я взял его и держал чуть не на вытянутой руке, будто он мог рвануть. Отошёл за капонир, подальше от чужих глаз, и развернул. Вот и еще полезная информация, но все равно не по себе, там же наверняка что-то личное.

Округлым старательным почерком, явно женским, было выведено: «Здравствуй, сыночек Коленька...». Огород кое-как засадили, семян было совсем чуть. Соседка родителям помогает, а они ей, так как она одна пока осталась. И в конце: «а мы с отцом каждый вечер за тебя молимся, возвращайся живым, больше нам ничего не надо».

Я стоял и держал в руках листок, пропитанный болью и любовью чужих мне людей. Где-то за тыщу вёрст женщина ждала сына, но его уже нет. Кто знает, исчез он в той грозе или, как я, перенесся куда-то. Теперь на его месте подменыш из 2025-го. Открыться я, понятное дело, не могу, и промолчать не по-людски. Оставалось одно - не дать матери раньше срока сына схоронить.

Решительными шагами пошел к избе нашего звена. Благо, пара ребят были там, и я смог прикинуться, что не могу найти свой вещмешок. Рослый худощавый парень указал на дальний угол у лавки. К счастью, в недрах мешка отыскался карандашный огрызок и небольшой листок. Я вывел сдержанный ответ: жив-здоров, служба идёт, кормят отлично. Свернул треугольником, край послунывил. Пусть ждёт. А к чему это приведет в будущем, неважно. Неизвестно, сколько этого самого будущего у меня осталось.

Под вечер полк вернулся с задания. Машины садились одна за другой, пыля на пробеге, и я поймал себя на том, что высматриваю знакомые лица. У капониров загомонили, кто-то в сердцах пнул колесо. Видно, не заладилось в бою, но обошлось. Механики уже лезли в моторы, прикидывали тяжесть повреждений.

И тут пошел слух: топят баню. Днем полетали отлично, прикрыли переправу, и обошлось без потерь. Так что банька была прямо праздник. Пришлось согнуться в три погибели, чтоб зайти во врытую в косогор землянку с низкой **дверью**. Каменка вполне приличная, пусть и из битого кирпича, полки в два яруса. Плеснули на печь - ухнуло паром до потолка, обдало так, что дух перехватило, а следом по всему телу растеклась тяжёлая, сладкая истома. Кто-то охал, кряхтел, кто-то хлестался веником и блаженно поругивался. Распаренная берёза щипала в носу. Минут за десять с меня будто смыло всё - шок от произошедшего, страх сболтнуть лишнее и, ра-

зумеется, тоску по моей настоящей жизни. Просто сидел в пару и жмурился.

После бани мы в чистом сидели разморённые, красные, лёгкие. На ужин каша с тушёнкой, и старшина выставил положенное, те самые фронтовые сто грамм. Разливали по кружкам бережно, чтоб не расплескать. Первую по традиции опрокинули, не чокаясь. За Пантелеева и за всех, кто не вернулся. Выпили, закусили хлебом. И только потом за столом возобновились разговоры. Кто-то потянулся к кисету, свернул козью ножку и пустил кисет по кругу.

Вышли подышать свежим воздухом, расселись на зава-
линке, кто-то подтащил еще чурбачков. Высокий парень,
который помог мне найти вещмешок, вынес гармонь. Ерё-
ма начал тонким голосом, подхватили ещё двое, и поплыли
над тёмным полем негромкие песни. Большинство мне были
незнакомы, а вот про разлуку с любимой что-то такое напе-
вал прадед. Слов я толком не знал, только губами шевелил,
а в глазах щипало.

Голубь сидел чуть в стороне на ящике, курил. Орден туск-
ло поблёскивал на груди. Поймал мой взгляд, коротко мот-
нул головой, мол, иди сюда.

- Оклемался, салага?
- Уже лучше, товарищ старший лейтенант.
- Не «выкай». В воздухе некогда. И сядь уже. - Он затянул-
ся, глянул на тлеющий уголек самокрутки. - Ты вчера дельно
орал. Про пару снизу вовремя. Откуда высмотрел?

Опасный вопрос. Я пожал плечами, устраиваясь на старой катушке из-под кабеля:

- Да само вышло. Саданулся вон потом.

Голубь усмехнулся, выпуская клуб дыма, при этом глаза его вовсе не улыбались.

- Иных так пришибет, что вовсе летать разучатся. Ладно! - хлопнул он меня по плечу. - Оклемаешься, пойдёшь ко мне ведомым. - Он сплюнул, растёр сапогом. - И запомни, твоя задача - стеречь хвост, а не сбивать все, видишь. Кинешься за славой, свалят тебя, а следом и меня. Ясно?

- Да, - буркнул я.

Элементарная тактика. Только у нас за ошибки двойку в журнал влепят, а тут головой отвечаешь, и не только своей. Голубь неспеша приподнялся и пошел в хату. А меня первый раз за сутки окатило радостью. Возьмут в пару. Значит, не зря навыки, чутьё, тыщи часов на тренажёре. Окрыленный, я заторопился внутрь к своим. Тут и там перебрасывались шутками, старики по-доброму задирали молодых.

Уже в темноте дверь хаты скрипнула. Я догадался, кто, ещё до того, как повернулся ко входу. Все за столом разом подобрались. Ерёма начал было рассказывать про свой первый вылет и замолк на полуслове. Оборвался чей-то смешок. А вот и Батя. Невысокий, кряжистый, лицо в морщинах. Цепкий взгляд серых глаз будто рентгеном всех просвечивает. Постоял пару секунд и двинулся в мою сторону. Только когда он подсел ко мне, ребята вокруг чуть рассла-

бились.

- Лежать бы тебе, - это он вместо «здравствуй».

- Виноват, товарищ капитан. Ноги сами.

Комэск оглядел меня так, словно прикидывал, годен или списывать.

- Знаешь, Соколов, я тебя другим помню. Мямля мямлѐй прибыл, за штурвал садился, чуть не крестился. А тут сбил мессера, пару прикрыл, орал в эфир так, что Голубь тебя за старого принял.

Снова подозрения. Вдруг кто-то доложил наверх, и за мной уже присматривают? В груди похолодело, но лицо я держал.

- Так это... - Я повёл глазами на бинт. - Ушибся, товарищ капитан.

Батя смотрел долгую секунду. Потом уголок рта у него дрогнул.

- Бывает, - сказал он. - У меня в ту, германскую, земляк с коня навернулся. Дурак дураком был, а как поправился, грамоте за месяц выучился. - Он помолчал, глядя мимо меня. - Вот что, летать тебе рано, доктор не пустит, и правильно. Побудешь при Кондрате, на разборах посиди, послушай. Небо дурака враз наказывает. Разок зевнёшь, и всё, отзевался. - Глянул так, будто я в любую секунду могу что-то учудить, но смягчился: - И шоколад из-под подушки достань. Не принято у нас по углам заначки прятать.

С этими словами капитан поднялся и отошел перегово-

речь с другими. Я хмыкнул, а потом и вовсе тихонько засмеялся первый раз с той грозы. И заначку разглядел, от такого ничего не утаишь.

Ночь я не спал. Смотрел, как в оконце синева густеет до черноты, а после сереет к утру. Я не проснулся в Краснодаре. Не будет больничного современного уюта, матери, телефона на тумбочке. Головой я принял это еще вчера, а нынче дошло уже до сердца. Все всерьёз и надолго. Может, насовсем.

Раньше я жил играючи. Волновался перед зачётами, планировал, где в увольнительные с приятелями погулять. Блокнот с самолётами прятал под партой. А теперь меня вышвырнуло в чужую жизнь без всяких ориентиров, всучили чужое имя. Есть лишь один-единственный козырь - руки, которые помнят то, чего тут ещё не выдумали.

Эх, прадед, молодой, при орденах. И отец из года в год: «Ты хоть знаешь, кем был твой прадед?». Проспал, мимо ушей пропустил самое важное. А теперь вот сижу внутри его времени, дышу той же пылью, ем тот же хлеб, и бежать некуда. Ну что ж, раз влип, влипну как следует. Не мямлей, каким помнили Кольку. И не посрамлю. Кого именно, я сам ещё не разобрался, а всё же не посрамлю.

За стеной заворочались, кашлянули, чиркнули спичкой. Светало.

- Подъём, соколики! - гаркнул со двора чей-то бодрый голос. - С рассветом полетим. Зазря, что ль, керосин жгём!

Я спустил ноги, сел. Голова качнулась, поплыла было, и

устояла. Шмели тоже проснулись, загудели. Я нашарил сапоги. Побуду пока «помощничком» у Кондрата.

Глава 3

Роса покрыла траву, брезентовые чехлы – да все вокруг. Я торчал у капонира с ветошью под мышкой и глядел, как просыпается аэродром. Стягивали чехлы. Оружейники в последний раз щёлкали затворами. В дальнем конце прогревали мотор – тот взвыл, чихнул, поймал ноту и загудел ровно. Пахло бензином, стылой землёй, полыньёю. Из ртов шёл пар. Лётчики шли к машинам, застёгиваясь на ходу: кто хлеб дожёвывал, кто самокрутку тянул. Один провёл ладонью по щеке, проверяя, хорошо ли побрился. Другой на ходу подтягивал лямки парашюта, ругался, что перекутило.

Меня в небо не пускали. Военфельдшер был непреклонен, Батя тоже, и я, честно сказать, не спорил. Голова ещё побаливала при резком движении, а главное, я и сам понимал: сунусь сейчас в бой на непонятой толком машине, в чужом «неразношенном» теле, и просто угроблюсь без всякой пользы. Так что моё дело было при Кондрате. Свети, подавай, держи. Помощничек.

- Не спи, - буркнул Кондрат, не отрываясь от мотора. - Ключ на четырнадцать давай. Другой, балда, вон тот, поменьше.

Я подал. Он подтягивал что-то в потрохах моей же машины, той самой, которую латал третьи сутки. Радиатор ему всё-таки привезли новый, и теперь он колдовал над патруб-

ками, ворча под нос, что до вылета всяко не поспеет, а раз так, пусть салага стоит рядом и учится, покуда живой. Руки у него двигались сами, без спешки и без единого лишнего движения, а я смотрел и запоминал, потому что железо это стало теперь моей жизнью, а знал я про него маловато.

По полю прокатилась команда. Первое звено пошло на взлёт - три машины одна за другой, тяжело разбегаясь по укатанному полю, отрывались у самой дальней кромки. Гул моторов ударил в уши, качнулся, поплыл вверх и вширь. Земля под ногами дрожала. Хорошо, подумал я. Красиво. Ради этого и терпишь всё остальное.

Мимо, придерживая планшет, пробежал Ерёма. Заметил меня, махнул рукой.

- Сокол! Ты гляди, я нынче ведомым у Кузьмина иду! - крикнул он на бегу, конопатое лицо сияло. - Второй вылет, а уже пара! Вернусь, расскажу, как оно!

- Давай, - сказал я. - Только не геройствуй. Сам же учил.

Он засмеялся, отмахнулся и побежал дальше, к своей стоянке, где механик уже махал ему - запускай, мол, чего тянешь. Я проводил его глазами. Мальчишка мальчишкой, комбинезон не по росту, рукава подвернуты.

Сперва я не понял, что что-то не так. Из-за низкого солнца, прямо со стороны посадки, вынырнули точки. Их вело ровно, на бреющем, у самой земли, и мне ещё хватило дурацки подумать, что наши возвращаются, правда, рановато. А потом рябой боец у соседнего капонира задрал голову, охнул

и заорал во всю глотку:

- Воздух! Воз-ду-ух!

Крик подхватили по всему полю. Кто-то лупил железякой по подвешенной гильзе. Тревога! У соседнего капонира уронили ящик с патронами, ленты вывалились в пыль. А точки уже распухли, обросли крыльями. Тонкие изящные силуэты надвигались. Штук шесть, если не восемь. Шли волной, покачиваясь, и заходили ,не торопясь. Знали, что застали врасплох.

Кондрат среагировал раньше, чем я успел подумать. Схватил меня за шиворот и рванул вниз, за обвалку капонира.

- Лежи, черт тебя возьми!

Мир опрокинулся. Земля ударила в колени и ладони. А сверху уже накатывал злой нарастающий вой, от которого всё внутри сжималось. Вжаться бы в землю, стать плоским, пропасть. И следом «та-та-та-та-та», дробный лающий грохот, знакомый до тошноты. Только теперь я слышал его не в наушниках, а голым ухом.

Первый «мессер» прошёл над полем так низко, что я разглядел заклёпки на брюхе и жёлтый кок винта. Я вдавливал тело в землю, но глаз не смог отвести. Видел, как от его крыльев протянулись к стоянкам дымные нити трасс, как они вспороли землю длинной строчкой, вскидывая фонтанчики пыли, как эта строчка добежала до капонира напротив и хлестнула по стоявшей там машине. ЛаГГ-3 из третьего звена, готовый к вылету, с прогретым мотором. Только лётчик

не успел, вон он, рванул прочь от машины на четвереньках, но поздно. Осколки брызнули веером. Что-то ухнуло под капотом, лизнуло рыжим, и в следующий миг самолёт занялся, сразу весь, будто облитый бензином факел. Жар докатился даже до нас, до нашего капонира. А следующий на том же заходе достал бензозаправщик у края поля, полуторку с бочками. Полыхнуло так, что уши заложило, огненный шар встал выше хат, и по полю потянуло гарью и палёной резиной.

- Взлетают! Наши взлетают! - крикнул кто-то рядом, срываясь.

И правда. Пока «мессеры» отваливали, разворачиваясь на второй заход, уцелевшие рвались в небо. Один ЛаГГ уже катил по полю, задирая хвост, набирая скорость - быстрее, быстрее, оторвался, пошёл, поджимая шасси. За ним побежал второй, у этого на разбеге сорвало плохо закрытый фонарь, мотнуло, но он удержался и всё равно полез в небо. На разбеге ты утка на воде, бей не хочу. Зато в воздухе есть шанс. Вот и рвались. Третий помчал следом, и не успел. «Мессер» со второго захода поймал его на самом отрыве. Короткая очередь, точная. Машина клюнула носом, чиркнула крылом землю и пошла кувыркаться, теряя куски плоскостей. Никто оттуда не вышел. Секунды две, ну три. Я лежал и смотрел, как гибнет человек, которого и в лицо не знал, и ничем, ну ничем не мог помочь.

Я вжимался в стылую глину и часто, мелко дышал. В кабине хоть руки при деле. А тут лежи да жди - пронесёт или

нет. Впервые за все эти дни меня прошибло по-настоящему, до дрожи в коленях.

И тут я увидел Ерёму. Он не добежал до своей машины. Застрыл на открытом месте, посреди поля, между капонирами заметался, не зная, куда кинуться, назад к стоянке или вперёд к щели. Мальчишка растерялся, потерял голову, вжал её в плечи и стоял столбом, а сверху уже надвигался в новый заход третий «худой», и трасса его тянулась через поле напрямиком туда, к парню.

Не знаю, что во мне щёлкнуло. Ни решения, ни трезвой мысли - тело сработало само, как тогда, в кабине. Я вскочил и рванул к нему через открытое поле, пригибаясь, чувствуя спиной, лопатками, затылком, как накатывает этот проклятый вой. Сзади заорал Кондрат, что-то злое, отчаянное, звал назад. Плевать. Ерёма вот он, свой, живой пока, и до него двадцать шагов.

Трасса легла раньше, чем я добежал. Прошлась совсем рядом, взрыла землю в двух шагах от него, и Ерёму швырнуло осколками, комьями земли, взрывной волной. Он мешком осел на землю. Я подлетел, упал рядом на колени. Живой. Оглушённый, с залитым кровью лицом, но живой. Хрипел, ворочался, тянул что-то невнятное, глаза плавали, не находя меня.

- Держись! Держись, слышишь! - я и сам не слышал своего голоса за грохотом.

Подхватил его под мышки и поволок. К щели - узкой тран-

шее в рост человека, отрытой у края стоянки как раз на такой чёрный случай. Десять шагов показались мне длиннее взлётной полосы. Ерёма был тяжёлый, обмякший, ноги его безвольно чертили борозды в пыли, голова моталась, а сверху снова наваливалось, и я тащил, тащил, стиснув зубы, ожидая спиной, что вот сейчас, вот сейчас меня прошьёт насквозь, и всё кончится. Кто-то подхватил Ерёму с другой стороны. Тот самый рябой боец, что первым крикнул «воздух». Вдвоём мы доволокли, свалились в щель, уронив раненого на дно, и сами рухнули сверху, вжимаясь в стенку.

В щели уже сидели человек пять, а то и шесть. Прижались к сырым земляным стенкам, вбирая головы в плечи при каждом заходе, при каждом накате воя. Земля тряслась, ходила ходуном. С бруствера сыпался песок, забивался за ворот, скрипел на зубах, лез в глаза. Пахло сгоревшим порохом, гарью, вывороченной сырой глиной и ещё чем-то приторным, от чего мутило. Ерёма стонал, приходил в себя рывками, я зажимал ему рассечённую бровь ладонью, кровь толчками текла между пальцев, тёплая, липкая. Один раз он рванулся, забормотал, попробовал встать, я придавил его к земле: лежи, лежи, куда. Не слышал он ни черта, только шлёпал разбитыми губами.

Напротив, привалившись к стенке, сидел молоденький оружейник. Я его помнил, он вчера у пулемётов возился рядом с Клавой, совсем ещё пацан. Сидел и смотрел прямо перед собой широко открытыми удивлёнными глазами, будто

силился что-то понять и никак не мог. Гимнастёрка на боку темнела. Сосед тронул его за плечо, окликнул раз, другой, а он мягко, послушно завалился набок, и только тогда я понял, что смотреть ему уже нечем и незачем. Осколок вошёл под лопатку. Ни крика, ни стола. Вот только дышал человек - и нету. В одну секунду.

Я отвёл глаза. К горлу подкатило горячее, кислое. Держи, приказал я себе, стиснув зубы. Держи Ерёму, зажимай бровь, дыши. Больше от тебя сейчас проку нет.

Рядом со мной пожилой боец из аэродромной команды часто, мелко крестился заскоруждыми пальцами, шевелил губами беззвучно, и, кажется, сам не замечал, что делает. Я его не осуждал. Сам чуть губами не зашевелил следом.

А наверху шёл бой. Не только штурмовка. Те двое наших, что успели взлететь, вцепились в «мессеров», и теперь над полем закрутилась карусель. Я слышал её по звуку, не поднимая головы: вот прошли на форсаже, с надрывом, вот кто-то дал длинную, вот вой сорвался в другую тональность, взвизгнул, ушёл вверх. Один раз над самой щелью пронеслись две тени, одна за другой, вплотную, и я всё-таки задрал голову - наш ЛаГГ висел на хвосте у «худого», гнал его прочь от стоянок, огрызаясь короткими прицельными очередями. Голубь. Я почему-то сразу, без сомнений понял, что это он, по злой, расчётливой, экономной манере, по тому, как чисто и цепко он держал противника в перекрестье, не давая ему ни отвернуть, ни снова зайти на аэродром. Отжимал в сторону,

в чистое поле, подальше от нас. «Шмитт» вертелся, пробовал уйти вверх, на вертикаль, но Голубь не пускал, срезал угол, висел как приклеенный. Второй наш прикрывал сверху, отгонял тех, кто пробовал зайти ведущему в хвост. Пара работала слаженно, и я, глядя снизу, вдруг поймал себя на том, что читаю этот бой как раскрытую книгу - кто кого, куда, зачем. Только сказать об этом было некому и незачем.

Заговорили зенитки. У дальнего края поля звонко, взахлёб залаяла счетверённая установка, вспарывая небо красноватыми пунктирами. К ней тут же подключилась вторая, откуда-то из-за хат. У счетверёнки крутился совсем молоденький наводчик, без пилотки. Вцепился в рукоятки, вёл стволы за «худым», а стреляные гильзы сыпались из-под установки грудой, звенели, катились под ноги подносчику. И «мессеры» разом стали осторожнее, задёргались. Одно дело утюжить беспомощную землю, другое - лезть раз за разом под кинжальный зенитный огонь, тут и самому недолго остаться. Один из них, выходя из очередного захода, вдруг качнулся, будто споткнулся в воздухе, оставил за собой тонкую белую струйку и потянул со снижением в сторону к реке, к своим. Попали, задели. По щели прокатился хриплый, ликующий рёв - мужики орали, потрясали кулаками, будто это могло что-то добавить, будто так они хоть на грош возвращали своё.

А потом всё кончилось. Так же внезапно, как началось. «Мессеры» отвалили разом, набрали высоту и растворились

в светлеющем небе, туда, за реку, откуда пришли. И упала тишина. Ватная, ненастоящая, уши она давила похуже грохота. В голове гудело. Напротив трещал и чадил горящий самолёт. Где-то в стороне тонко, на одной ноте стонал раненый, и сорванный голос звал санитаров.

Из щели выбирались медленно, по одному, оглушённые, серые от пыли с ног до головы, будто вывалились в муке. Я тащился последним, вытянул за собой Ерёму. Он уже приходил в себя, мотал головой, силился встать, цеплялся за меня, губы шевелились, но слов было не разобрать. Контузило крепко, похоже, оглох на оба уха, и по лицу, по вороту, по всей гимнастёрке расплывалась кровь из-под рассечённой брови и из плеча, куда вошли осколки. Среднее ранение, сказал бы фельдшер, кость цела, до свадьбы заживёт. Но сейчас мне оставалось лишь придерживать, чтоб не завалился, и твердить как заведенный «Отвоевался ты пока, полежишь, отдохнёшь, все будет хорошо».

На поле, где полчаса назад размеренно оживал аэродром, теперь чадили две машины, зияли свежие чёрные выбоины, валялись куски дюрала. Санитары с носилками бежали, пригибаясь по привычке. Подоспели еще парни с брезентом и лопатами, чтоб сбить пламя. Оттаскивали раненых. Горелую полуторку обходили, там еще шипело, и лопались бочки с остатками топлива. Один парень с обгоревшей до колена штаниной стоял посреди поля, озираясь, не понимая, куда себя деть. На прежнем месте Клава уже расположилась со

своими пулемётами, щёлкала затвором, придиричливо осматривала. Когда она чуть повернула голову, стала видна наспех замотанная щека и губы, сжатые в нитку.

Ближе к окраине лежал кто-то накрытый обрывком брезента с торчащими наружу кирзовыми сапогами, стоптанными на левый бок. Я узнал их. Тот мужик, что учил меня вчера колоть дрова.

Подошёл Кондрат, чёрный, взмокший, но, к счастью, целый. Оглядел меня с сапог до бинта, помолчал и процедил:

- Ну и дурак же ты, Сокол. Через всё поле под трассами, в полный рост. Прибило бы обоих, и вся недолга.

- Но обошлось же, - просипел я севшим, каким-то чужим голосом.

Он продолжал смотреть на меня исподлобья. Сердито и резко выдохнул и махнул на Ерёму, которого санитары уже принимали на носилки:

- Дружка, значит, вытащил. - Помолчал, сунул руки в карманы. - Ну-ну.

Ерёму унесли в санчасть. Я дёрнулся было за ним, но меня перехватили, работы хватало всем: и раненым лётчикам, и здоровому помощничку. Мы с Кондратом и ещё десятком мужиков полдня растаскивали то, что осталось от рассвета. Цепляли тросом обгорелый остов, тянули полуторкой, он упирался, скрёб землю рваным крылом. Гасили тлеющее, откатывали в сторону обгорелые остовы, засыпали воронки, трамбовали. Спешили разровнять, чтобы вернувшиеся с за-

дания сели, а не скапотировали. Обожжённому лётчику из третьего звена лили воду на руки из котелка, кожа слезала лоскутами, он шипел сквозь зубы и всё просил закурить. Но ему было нельзя, от комбеза ещё пахивало бензином, а кто-то всё равно сунул в зубы самокрутку, прикурил. Пусть. Наша машина уцелела, осколки прошли стороной, только в правой плоскости прибавилось дыр к прежним. Кондрат обошёл её кругом, потрогал рваные края, поматерился беззлобно: латать, стало быть, опять с ночи. Работа была тупая, тяжёлая, и я ей радовался. Она не оставляла в голове места для мыслей, а мысли лезли нехорошие.

Они всё равно прорывались между делом короткими злыми вспышками. Я вспоминал прадеда на его «троне», в кресле у камина, как он бубнил что-то про штурмовку аэродрома на рассвете, про товарища, что сгорел в капонире не успев взлететь, про то, как хоронили потом всех разом. Я тогда зевал, отворачиваясь, и ждал, когда же старик договорит и меня, наконец, отпустят погулять. Скукота бессмысленная, дела давно минувших дней. А оно вон какое, оказывается. Оно пахнет горелым бензином и кровью, и у него стоптанные на левый бок сапоги, торчащие из-под брезента.

К вечеру полк вернулся с задания, те, кто улетел до налёта и не знал ещё, что застанет дома. Садись на подлатанную полосу осторожно, объезжая свежие заплатки и обходя обломки. У капониров считали своих, живых и мёртвых, курили молча, сплёвывали с досадой. Подводили счёт этому

рассвету. Двое не вернулись из боевого вылета где-то за рекой. Один сгорел на взлёте под штурмовкой, ещё один разбился на отрыве. Оружейника и того бойца с чурбаками решили хоронить на завтра за станицей под три негромких залпа. За одно утро полк не досчитался столько, сколько иная часть не теряет за неделю. И всё это было буднично, привычно, вписывалось в графу потерь и шло дальше, потому что завтра снова с рассветом в небо.

Батя объявился уже в сумерках, обошёл стоянки, поговорил с каждым звеном тихо, по-своему, без крика. Возле нас с Кондратом остановился, глянул на мою перепачканную в чужой крови гимнастёрку, на сбитые ладони.

- Слышал про тебя, - сказал он глухо. - Как ты Ерёмина из-под огня выволок. - Помолчал, пожевал губами. - Дело. Только под трассы больше не суйся очертя голову. Живой ты нам нужен.

Он ещё постоял, поглядел задумчиво и вроде хотел что-то добавить. Вместо этого хлопнул по плечу тяжёлой ладонью и пошёл дальше по стоянкам.

Я стоял на пороге хаты и смотрел на догорающий дымный закат. Голова гудела то ли от ушиба, то ли от сегодняшнего налета. Санитар принес вести из санчасти, что Ерёма очнулся. Слышит плохо, звенит в ушах, но жить будет. Кость в плече не повреждена, осколки вынули. Просил передать Соколу «спасибо». Я кивнул и отвернулся.

Ерёма поправится и все-таки полетает в паре с Кузьми-

ным. А мне осталась одна едкая досада на самого себя «Какой же ты был дурак, Арсений!».

Глава 4

Пять дней я ходил по земле и смотрел в небо снизу.

Полк уходил на боевое, а я оставался у капонира наедине с механиком и железом, провожал взглядом каждую машину до самой точки, пока она не таяла в мареве над Доном. Считал, сколько ушло, сколько вернулось. Дважды не сходилось. Один раз недосчитались Сёмина из второго звена, другой — незнакомого мне сержанта из пополнения, того самого, что три дня назад учился у меня подавать Кондрату ключи. Прилетело для него потом письмо и отправилось в жестяную коробку у Гуреева ждать неизвестно чего.

Кондрат гонял меня безжалостно и, кажется, с удовольствием. «Держи капот». «Свети сюда, балда, не в глаз мне, а в патрубок». «Затягивай, только не порви резьбу, она мягкая». За дни такого усиленного обучения я узнал М-105 лучше, чем за все месяцы в училище с тренажёрным макетом. Там был пластик и лампочки. Настоящее живое железо грелось под ладонью, воняло горячим маслом и норовило прищемить палец, если зазеваешься.

Работа была бесконечная. У истребителей ресурс мотора шёл на десятки часов, а не на сотни, и Кондрат перебирал свечи, чистил фильтры, гонял на пробу, слушал ухом, приложившись к капоту, как доктор слушает грудь больного. Вряд ли я бы и приборами поймал то, что он ловил одним ухом.

«На третьем цилиндре булькает. И клапан подгорает». Регулировали зазоры щупом, промывали бензонасос, поглядывали, не течёт ли гликоль из радиатора. Как-то полдня искали, откуда сифонит масло. Это треснул штуцер, и из тонкой, с волос, трещинки, масла ушло чуть не полбака. Кондрат, когда её нашёл, крикнул довольно, будто клад нашел.

По вечерам после полетов механики сходились у своих ЛаГГов покурить, перекинуться, у кого что барахлит. Круговорот болтов, кочующий из рук в руки инструмент, беззлобная ругань - всё это сплеталось в подобие единого живого организма. Держалось хозяйство на взаимовыручке, на смекалке, на вечном «а вот у меня от списанной осталось». Запчастей частенько не доставало, и добрую половину чинили из того, что под рукой: заплатка из перкаля, скоба, выгнутая из проволоки, хомут - и вовсе из чего Бог послал.

Военфельдшер осмотрел мой затылок на шестое утро. Я послушно следил глазами за карандашом. Он посветил мне в зрачки, помял пальцами место удара, глянул мельком:

- Давит ещё?

- Терпимо, - сказал я. И не соврал. Голова уже не плыла, только к вечеру наливалась тупой тяжестью, и то не всегда.

- Ну, коли терпимо. - Он черкнул что-то в замусоленной тетрадке. - К комэску иди. Пушай решает.

Батя выслушал меня коротко, оглядел с ног до головы, будто снова прикидывал, годен или списывать.

- Провозной, - сказал он. - Со мной. На спарке. Разобьёшь-

ся - сам вытащу, потом сам и добавлю.

Спарки как таковой в полку не водилось, а стояла в дальнем углу поля старенькая учебная машина, «утёнок», латаная-перелатаная, с двумя кабинами. На ней вывозили молодняк из пополнения, прежде чем пустить на боевой. Меня, выходит, тоже заново. Соколов до грозы летал скверно, это я уже знал от всех понемногу: и от Кондрата, и от Ерёмы, и по кривым усмешкам, что мелькали, когда речь заходила о моей прежней посадке. Мямля. Чуть не крестился, садясь в кабину. Так что заново - оно и к лучшему. Списать всё на голову.

Только вот беда: тело было чужое, а руки помнили не ту машину.

Я это понял ещё на земле, когда влез в переднюю кабину и повёл ладонями по приборам. Не мои движения. То есть мои, но с чужой поправкой, будто перчатку надел на размер меньше. Соколовские плечи сидели иначе, руки тянулись короче, чем я привык, глаз мерил высоту от пола кабины не так, как на тренажёре. Всё сместилось на палец, на два - а в пилотировании палец решает.

- Не спи, - рыкнул сзади Батя. - Запускай.

Я запустил. Мотор чихнул, схватился, пошёл ровно. Стрелки поползли по циферблатам, и вот это я узнавал сразу, безо всякой поправки - давление масла, обороты, температура. Цифры на любом языке цифры. Отпустил тормоза, дал газ плавно, повёл машину на старт, придерживая ногами,

чтоб не рыскала на неровном поле.

А вот со взлётом вышло скверно.

Я дал полный газ, и «утёнок» попёр по укатанному полю, задирая хвост, тряся меня на каждой кочке. И тут чужое тело меня подвело. Я привык отрывать машину по ощущению спины, по тому, как вдавливают в сиденье, как повисает под ложечкой. А ложечка была не там. Спина сидела не так. Я потянул ручку на себя чуть раньше, чем надо, машина оторвалась, недобрав скорости, качнулась, просела. Я испугался, сунул ручку от себя - и она снова притёрлась колёсами, подпрыгнула, оторвалась опять, уже как следует, но с таким козлом, что зубы клацнули.

- Мать честная! - Батя сзади аж поперхнулся. - Ты чего творишь!?

Я смолчал. Некогда было. Загнал машину в набор, выровнял, и на высоте отпустило. Чужое тело в воздухе почти не мешало. Веди себе да веди. Я и повёл: ровно, без единого лишнего движения, как «сушку» на экране когда-то, тысячу раз хоженным маршрутом.

Батя не говорил ничего. Долго. Я его взгляд затылком чувствовал.

- Разворот влево, - выдал он наконец. - Координированный. Ногу давай.

Положил машину на крыло, придержал ногой, выдержал угол, выравнивал на выходе. Курс тот же, метр в метр, ни скольжения, ни просадки. Вариометр стоял у нуля и не ше-

лохнулся.

- Ещё. Вправо.

Повторил. Вправо машина шла тяжелей: винт тянул, ногу приходилось поддавливать. Ну так это везде так. Сколько надо, столько и поддавил.

Мотор ровно гудел да свистел ветер в щелях фонаря. Я поймал себя на том, что мне хорошо. Впервые за эти дни по-настоящему хорошо. Земля осталась внизу со всеми её похоронами, письмами в жестяной коробке, чужим именем, чужой судьбой - а здесь, наверху, был только я, машина и воздух, и воздух был честный, тот же самый, что и всегда, что и через восемьдесят лет.

- Восьмёрку, - буркнул Батя. - Через тот вон стог, и высоту держи.

Сшил два виража в одну восьмёрку. Над стогом провёл машину, не роняя и не набирая высоты, замкнул петлю, вернулся на исходную. То, чем самолёт держится в воздухе, за минувшие десятилетия не переменится ни на волос: угол атаки так и останется углом атаки, срыв - срывом. Другое дело - сам «утёнок»: руки мои помнили не его. Вялый, ленивый на элеронах, отзывался с оттяжкой. Мне привычна была машина, что слушается от касания. А эта латаная-перелатаная деревяшка словно прикидывала, стоит ли меня послушаться.

- Сажай, - отрезал Батя. - По коробочке. Только Христа ради, не убей нас на выравнивании.

Взлёт живёт в пояснице - в том, как вдавит, как отпустит.

А посадка делается глазом. Высота, скорость снижения, тот миг, когда убрать газ и добрать ручку. Четвёртый разворот. Шасси. Доворот на полосу. Скорость гасил плавно, землю почуял метров с трёх. Наша тень скользнула сбоку, подобралась под колёса. Машина осела на три точки разом - ни козла, ни подскока. Покатилась по кочкам, я держал ногами прямо, «утёнок» сам замедлился и встал, повернув носом к ветру.

Тишина. Мотор молотит на малых. Ветер стих.

Я сидел, рук с ручки не снял, и слушал, как сзади сопит комэск.

- Слазь.

Слезли. Я стянул шлемофон, отёр лоб - мокрый, а ведь не пекло. Батя обошёл машину. Медленно, будто впервой её видел. Пощупал ладонью капот, сунулся под крыло, качнул сапогом стойку. Встал напротив, засунул руки за ремень и стал разглядывать так пристально, что захотелось глаза отвести. Я не отвёл.

- Взлетаешь как корова на льду, - сказал он. - Чуть в блин нас не свернул на отрыве. Молодняк из школы и тот чище отрывается.

Молчу. Так и было. Чего тут скажешь.

- Ты понимаешь, чего натворил? - Голос не злой, а въедливый, разбирающий. - Сдёрнул машину недобрав. На малой скорости, на большом угле. Повезло тебе, что она не свалилась на крыло тут же, у земли. А свалилась бы - и хоронить нечего. Под Ростовом так один салага ушёл, при мне. Сдёр-

нул, качнулся, чиркнул консолью - и в клубок. - Он рубанул ладонью воздух. - Скорость сначала. Отрыв потом. Земля тебя держит, пока ты её не перерос. Понял?

- Понял, - сказал я. И ведь знал же, да ещё как: теорию-то назубок, срыв на взлёте нам на первом курсе разжевали. Только беда была не в моей голове.

- А садишься... - Он пожевал губами, будто слово подбирал повкуснее. - Так, словно десять лет инструктором в аэроклубе оттрубил. Вирази режешь по циркулю, а от восьмёрки твоей я, взмок весь - до того гладко. - Прищурился. - Ну и объясни мне, лейтенант: как это в одном человеке уживается?

Вот он, вопрос, которого я и боялся. Холодком протянуло по спине под гимнастёркой, но я лишь повёл плечом, поднял ладонь к затылку. Жест этот сделался мне уже вроде заслонки, за которой удобно спрятать всё, чего не объяснишь.

- Да сам не пойму, товарищ капитан. Одно помню, другое напрочь стёрло. Взлёт вон - как ножом отхватило - ничего не осталось. А в вираже руки будто сами по себе.

- Сами по себе, - повторил он.

- С той поры, как приложило. - Я смотрел прямо самым честным взглядом. - Бывает, поутру встану и не соображу, куда с вечера кружку задевал. В воздухе все яснее ясного.

Он глядел на меня пару секунд. Наверх доложит? В расход спишет? Отведёт куда положено? Особый отдел жил не на книжных страницах. Про соседнюю мазанку через огород в

полку лишнего вслух не говорили.

Батя коротко хмыкнул себе в усы.

- Подменили тебя будто, Соколов, - решил он. И сказал это даже не с подозрением, а устало, почти суеверно. - Весной прислали ко мне заморыша. Смотреть тошно, как трясётся, в кабину полезет - губами шевелит, не то молитву шепчет, не то себя уговаривает. И вот мессера первым же заходом снял. Товарища из-под очередей выдернул. Посадка у тебя чище моего.

- Так это ж хорошо, товарищ капитан, - осторожно подметил я.

- Ага, - буркнул он неохотно. - Кабы знать, откуда. - Оглядел «утёнка» ещё раз, сплюнул, растёр сапогом. - Ладно. Взлёт будем ставить. Каждое утро, пока люди дрыхнут, будешь тут круги нарезать. Пока не начнёшь отрываться полюдски. Понял?

- Понял.

- А в пару к Голубю тебе рано. Пусть обвыкнет с тобой, и ты с ним. Ходить в паре - это тебе не фигуры в небе чертить. Тут один за другого головой думать должен. - Он тронулся было прочь, да приостановился, повернулся вполоборота. - И ещё. Про то, что руки у тебя память перегнали, - язык попридержи. Мало ли кому что примерещится. Летай знай да помалкивай.

Я кивнул. Совет был дельный.

Взлёт мы ставили четыре утра кряду.

Батя не шутил. Поднимал меня затемно, когда полк ещё спал, а над полем висел стылый туман и роса лежала на чехах седая, что твой иней. Пробирало до костей, пальцы не слушались, и первый заход я неизменно портил - сонное тело сопротивлялось вдвое сильнее. Да и выспаться в те дни не выходило. Спал я рвано, ухватывая где придётся: то на чехах у капонира привалюсь на двадцать минут, покуда Кондрат гоняет мотор, то после обеда прямо на патронном ящике.

Мы выкатывали «Утёнка» вдвоём, налегая плечами на плоскости. Тёплый мотор можно было проворачивать вручную, а если за ночь остывал, приходилось долго отогревать, вполголоса проклиная рассветный дубак. Пока он оживал, Батя успевал отхлебнуть из фляжки кипятку и мне совал - глотни, мол.

И вот начинались круги: взлёт, коробочка, посадка, и по новой. Товарищ капитан за спиной больше отмалчивался и встревал, только когда я уж совсем козлил. Два-три коротких слова в моменте ставили все на места.

- Не дёргай. Дай ей набрать. Чутья нет, так считай про себя: раз, два, три и тяни.

Способ, если разобраться, дурацкий, а ведь работал. Пока тело не переучилось, я подменял навык простой арифметикой: отсчитывал секунды разбега, ловил скорость по указателю и отрывал машину не «когда почувствую», а «когда стрелка дойдёт вот до этой чёрточки».

Вспоминать, как летал прежний Соколов, не имело смысла. Мои личные навыки предстояло слить с чужим и коротковатым телом. К исходу второго утра ладони гудели, а шум мотора преследовал даже на земле. Зато к четвёртому пошло. Оторвал я «утёнка» одним движением без просадки. Развернулся, обошёл коробочку, сел. И ещё разок. Батя сзади крикнул:

- Во. Можешь же, когда дурию не маешься.

С той посадки я слез почти весёлый - впервые за всё это тошное время. Есть в этом что-то такое, чему и слова не подберёшь. Когда чужое, ленивое, неподатливое вдруг начинает тебя слушаться, ложиться в руку, будто дикого коня приручаешь.

У капонира дожидался Кондрат, тёр руки ветошью, шурился на солнце. По одной его позе я понял: слышал он и первый мой утренний козёл, и чистый круг под конец тоже слышал.

- Ну что, - спросил, когда я слез, - облетался, помощничек? Теперь, стало быть, к мотору и не подойдёшь, зазнаешься?

- Куда ж я денусь, - сказал я. - Ключ-то мне, кроме тебя, никто и не подаст.

Он ухмыльнулся в усы - и впервые ухмылку эту не запрятал, как обычно, в своё ворчание, а показал открыто.

Только вот «утёнок» - машина не боевая. Мягкая, лёгкая, промах прощает. А в пару-то меня брали не на нём, и это по-

нимали мы оба. На пятый день после очередной тренировки я не пошел к Кондрату. Капитан повел меня в сторону капонира, где под маскировочной сетью дожидался мой ЛаГГ-3.

- Заводи. Круг-другой сделаешь. Погляжу, каков ты со строгой машиной, а не этой с игрушкой.

Это он верно, эту махину чуть передержишь, тут-то он и оправдает своё нехорошее прозвище «лакированный гроб». Кондрат было сунулся со своим «не рви в наборе», но Батя цыкнул, и механик отступил.

В тесной кабине пахло привычно: бензином, нагретым лаком, чуть-чуть пороховой горчинкой от прежних вылетов. На разбеге как только стрелка добежала до риски, я потянул, и ЛаГГ нехотя отделился от поля. Наверх он лез через силу, кряхтя мотором, отвоёвывал у высоты сотню за сотней. А вот в вираже отозвался - ручку на развороте давило так, что плечо потом до вечера ныло. Посадка вышла не такая мягкая, как на учебном. Меня коротко подкинуло, но я дождал, ногами вывел машину на прямую и погасил **ход**.

Батя стоял у капонира, руки на ремне.

- Второй раз, - скомандовал он напряженно. - И чтоб без козла.

Второй круг дался ровнее. Отрыв чистый, а села машина на три точки разом, без скачка. Батя пожевал ус, глянул искоса на Кондрата, потом перевёл глаза на меня.

- Ну вот. Теперь - к Голубю. Считаю, дорос.

А к полудню Гуреев созвал всех незанятых на политин-

формацию. Расселись кто как - кто на патронных ящиках, кто на брезенте, а кто и прямо в траву повалился. Политрук развернул газету, зачитал сводку: на юге держатся из последних сил, немец подпирает к большой излучине, рубежи наши стоят большой кровью. Читал ровно, без нажима - а всё равно от того, что за словами, в груди делалось тесно. Я-то слушал, наперёд зная, во что всё это выльется к зиме.

Потом Гуреев отложил газету, заговорил уже от себя: немец, дескать, на исходе, силы у нас копят, недолго терпеть до поворота. Знал я и это - да помалкивал: скажи такое вслух, кто ж поверит. Слушали мужики, дымя самокрутками, не перебивали. Верил не всякий, а хотелось верить каждому. Ерёма верил без оглядки, всем своим лопухим нутром - и это в нём было хорошо. Без такой веры в те годы, пожалуй, и выстоять было нельзя.

После разошлись, и Гуреев меня окликнул:

- Соколов. Ответ твой матери отправил. И вот ещё пришло.

Опять треугольник. От той же матери, что за тысячу вёрст дожидалась сына, которого на свете больше не было. Ушел к себе в избу, развернул. Строчки прежние: грядки поднялись, соседка кланяется, отец к холодам разболелся кашлем - простыл, видимо. А напоследок: «пиши чаще, Коленька, а то сердце не на месте». Сложил, спрятал в нагрудный карман. Еще бы! Что ж, придется делать вид, что все с Колькой в порядке, и ей просто кажется.

Вечером я взялся за карандаш и написал, что кормят хорошо, служба идёт своим чередом, голова после того ушиба уже не болит. Про войну - ни словом больше, чем надо. Царапал на колене при коптилке. Рядом ещё двое пыхтели над своими листками, и у каждого где-то там кто-то ждал. Свернул, надписал адрес. Пусть ей спится спокойнее.

Ванька Лукин тем временем дописал своё письмо и протянул мне блокнотик - чёрный, в клеёнчатой обложке, с задранными от частого листания уголками.

- На, спиши, коли ещё не переписал.

Внутри карандашом, чужим торопливым почерком, были выведены стихи. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди». Симонов. Это наверное из июльской «Красной звезды». Я подхватил карандаш обратно и раскрыл свой тоненький блокнот в клеточку. Там уже пристроился Сурков со своей «Землянкой», списанной у кого-то ещё раньше. Строки эти я помнил почти наизусть, а всё равно стоило переписать их и перечитать будто впервые.

С Ерёмой, кстати, обошлось. В тот налёт я решил было - всё, крышка. Кровь по лицу, обмяк у меня на руках, не слышит ничего. А фельдшер потом сказал: бровь расколо вскользь, крупный осколок мимо прошёл, только по касательной чиркнуло да взрывной волной оглушило. Кровищи ведро, а раны - на три шва. Молодость, лёгкая рука хирурга да везение. Через неделю уже бегал.

Вечером в хате он насел на меня с расспросами. Свежий

розовый рубец через бровь, вата в ухе, а сам весёлый, боевой. Слышал ещё так себе, переспрашивал, подставлял здоровое ухо.

- А правда, - тянул он, - что ты Бате восьмёрку так выпил, что он белый слез? Мне Захарыч сказывал, он с земли глядел.

- Врёт твой Захарыч, - фыркнул я. - Я взлетал как мешок с картошкой. Батя чуть язык не проглотил.

- Ну взлёт - дело наживное! - отмахнулся Ерёма. - А вот руки - либо есть, либо нету. У тебя есть. - Он придвинулся, понизил голос: - Слышь, а меня-то к Кузьмину когда обратно? Я уж и слышу почти, только звенит маленько.

- Скажи фельдшеру, что не звенит, - посоветовал я. - И летай.

- Так ведь врать нехорошо, - растерялся он.

Я посмотрел на этого мальчишку, который на полном серьёзе переживал, хорошо ли будет соврать военфельдшеру, чтоб поскорее вернуться туда, где его в любой день могут сжечь заживо. И захотелось взять его за плечи. Сказать: «не спеши ты, дурак. Не рвись. Успеешь».

Но кто я такой, чтобы его убеждать? Он понимал происходящее лучше меня. Пантелеева хоронил. Сёмина хоронил.

- Соврать разок для дела - не грех, - сказал я. - Только глохни поменьше, а то в бою не докричатся.

Засмеялся, довольный.

За окном темнело. Со двора донеслись звуки гармонии.

Кто-то перебирал лады, потом повёл негромко. Подхватили в два-три голоса песню про синий платочек. Я её, оказывается, знал. Мать напевала когда-то. До того, как я решил, что все эти песни скучны и не про меня.

Вышел на завалинку, сел на чурбак. Небо к ночи очистилось, высыпали звёзды - те же самые, что и через восемьдесят лет будут гореть. В дальнем углу поля кто-то ещё погонял мотор на пробу - тот взвыл и стих. А у соседней хаты кололи дрова впрок, на баню: на завтра, если погода будет нелетная, обещали топить. Полено со стуком летело в кучу. Лукин рядом сел на таком же чурбаке и точил из куса оргстекла портсигар. Оргстекло было тёплое, зеленоватое, снятое с фонаря того «мессера», что свалили под соседней станицей. Ванька возил по нему напильником и приговаривал в лад движению, чуть слышно, сам для себя: «Мы. Их. Бьём». А после свернул папиросу, размял в пальцах, но прикуривать не стал - сунул за отворот пилотки.

«Строгая машина, - думал я. - Соколово тело такое же. Ни вранья не спустит, ни лени: изволь изучить заново, до последней гайки».

Гармонь всё тянула про синий платочек. Ерёма в хате негромко подтягивал, привирая слова - куда ему, недослышит. А я сидел на чурбаке, слушал и прикидывал, что завтра снова вставать потемну, снова нарезать круги над этим стылым полем. И вдруг поймал себя: а на душе-то от такой мысли не тошно, а спокойно. Видно, когда у человека есть

дело, ему и вправду не так страшно.

Над полем сорвалась звезда. Чиркнула по черноте и погасла. Я проводил её глазами, поднялся и пошёл спать.

Глава 5

«Дорос», - сказал мне Батя. И тут же добавил, что дорости до строгой машины и дорости до боевой пары - две большие разницы. К Голубю меня приписали, это верно. Но приписать и пустить в бой - не одно и то же. Голубь свою пару берег, как скупой бережет последний рубль, и салагу в нее вставлять не спешил. «Погляжу на тебя еще», - и весь сказ. Ходи в готовности, сиди у машины, слушай эфир на КП. Притирайся. Притираться оказалось муторнее, чем летать. Второй день кряду я торчал на ящике у капонира, грыз сухую травинку и провожал глазами уходящий без меня полк. Считал, сколько ушло. Считал, сколько вернулось. Дважды не сходилосъ. Кондрат рядом ковырялся в моторе, насвистывал сквозь зубы что-то заунывное. Мою машину он вылизал так, что не подкопаться, - новый радиатор, свежая перкаль на плоскости, балансир подправлен. Стояла она под сетью, готовая, а я при ней вроде и лишний.

- Не егозь, - обронил он, не оборачиваясь. - Нарезвишься еще в небе-то.

Я подобрал с земли обломок оргстекла - кто-то притащил с разбитого «мессера», что упал на той неделе за станицей, и куски эти теперь валялись по всему аэродрому.

Мутноватое, желтоватое, но плотное, хорошо ложилось в руку. Оружейники из такого точили мундштуки, портсига-

ры, гребенки. Клава вон щеголяла расческой с прорезным вензелем. Я вертел осколок и думал, что тоже надо бы выточить что-нибудь. Мундштук хотя бы. Трофей. «Мы их бьем» - вот что означала эта безделица, если по-честному.

- Дай-ка. - Кондрат, не глядя, протянул черную ладонь, забрал стекляшку, глянул на просвет. - Годится. Напильник дам, вечером покажу, как кромку снять, чтоб губу не резала. Только сперва работу.

Работа нашлась сразу. Работа тут находилась всегда. Голубь подошел перед обедом. Встал напротив, сунул руки за ремень - точь-в-точь Батина повадка, переняли друг у друга, что ли, - оглядел меня с сапог до пилотки.

- Ну, летчик. Готов? Я вскочил.

- Готов.

- Сядь.

- Он присел на корточки, поднял прутик, чиркнул по пыли черту. - Пойдем на прикрытие. «Илы» будут утюжить переправу за излучиной, наше дело - держать над ними воздух, чтоб «худые» сверху не свалились. Ты за мной. Как нитка за иголкой. Что бы ни было.

- Понял.

- Ни черта ты не понял. - Он воткнул прутик в пыль. - Твое дело не сбивать. Твое дело смотреть мне в хвост и орать, если кто заходит. Полезешь за славой - я тебя из-под земли не вытащу, потому что тебя уже некому будет вытаскивать. Усек?

- Усек.

Он глянул еще секунду, будто прикидывал, вру я или просто моргаю, и поднялся. - Вылет через час. Обедай.

Час - это много и мало разом. Поесть, проверить машину еще раз, добежать до ветра по нужде - и вот уже нет часа. Я знал за собой одну штуку, еще с тех бессонных недель, что тут накопились: если выпадала пустая минута перед делом, лучше не думать, а провалиться. Хоть на десять минут. Недосып тут был свой, отдельный командир - после ночных налетов, когда «юнкерсы» висели над полем и спать давали урывками, между тревогами, летчики научились гасить себя как свечку. Сел, привалился, кинул пилотку на глаза - и утек. Проснулся от толчка или от рева прогреваемого мотора - и опять как новенький, будто и не десять минут прошло, а полночи.

Так и сейчас. Отошел за капонир, сел на плащ-палатку в тень от крыла, надвинул пилотку. В голове еще крутились эшелоны, вертикали. Смыло быстро. Провалился наглухо. Тряхнули за плечо - Кондрат.

- Вставай, летчик. Пожевать успеешь.

Разлепил веки. Солнце сдвинулось на палец, не больше. Обед пришелся кстати. Пшенка с тушенкой, чай, по кусочку сахара. Ел я быстро, механически, а в голове одно и то же. Строй. Эшелон. Тут ходили по старинке, звеном по трое, плотным клином. И ведомые в этом клину больше глядели, как бы не столкнуться, чем как бы не пропустить врага. А нужна пара. Ведущий бьет, ведомый стережет, оба тянут на

вертикаль. Не крутятся в горизонтальной карусели, где тупоносый ЛаГГ «мессеру» всегда проиграет. Прадед рассказывал, как поначалу дрались не так. Теряли зря. Переучивались потом, кровью. Я вылизывал миску и вспоминал слово в слово. Только помолчать про это лучше. Салага, без году неделя как с койки, - а туда же, строю учить.

Скажешь лишнее - снова пойдут сплетни. В воздухе покажу. Молча. Взлетели шестеркой. Три пары - так Голубь пробил у Бати, и это уже было не по уставу, а по уму. Впереди звено Кузьмина, за ним мы, чуть выше и сзади, уступом. Ерма шел у Кузьмина ведомым - вата из уха торчала, но фельдшера он все-таки уболтал. Мелькнуло в фонаре конопатое лицо, махнул мне рукой. Я не махнул. Руки заняты. Земля ушла вниз, рассыпалась на квадраты. Дон блеснул слева мутной лентой, вильнул, ушел за крыло. Высоту набирали долго, тяжело. Я держался за Голубем как приклеенный. Чуть сзади, чуть выше - видеть его целиком и не потерять в развороте. Тело слушалось. Не идеально, с той самой чужой поправкой на палец, но про поправку я уже знал и упреждал заранее, головой. «Илы» нагнали над переправой. Тяжелые, горбатые, шли внизу на бреющем, один за другим, и от них к тому берегу, к серому скоплению машин и понтонов, тянулись дымные росчерки эрэсов. Земля там вставала на дыбы. Наше место наверху - стеречь солнце, откуда придет беда.

Беда пришла оттуда, откуда ей и положено.

- «Худые». Сверху справа, - голос Голубя ровный, без на-

жима. - Четыре. Кузьмин, бери низ, мы верх. Сокол - за мной.

Я задрал голову. Вон они - четыре тонкие черточки вываливались из слепящего солнца, росли на глазах, обрастали крыльями. Шли с превышением, грамотно, как и я бы зашел на их месте. Голубь двинул ручку, машина клюнула, набирая на снижении скорость, и тут же полезла вверх, наперерез. Я за ним. Спину вдавило в бронеспинку, в глазах потемнело от перегрузки, поле зрения сжалось в трубу. Первая пара «мессеров» проскочила мимо - не поймали нас на встречном, промазали, свалились вниз, туда, где кувыркались «илы» и звено Кузьмина. Вторая крутанула на нас. Дальше пошло быстро. Ведущий «худой» полез в лоб - тонкий, стремительный, желтый кок винта. Голубь лобовую не принял, свалил машину вбок и вниз, пропуская, и «мессер» проскочил, не достав. А ведомый его - молодой, азартный - кинулся за Голубем, вцепился в хвост. И вот это уже было мое. Я повернул.

«Мессер» висел у Голубя на хвосте, тянул трассу - еще миг, достанет. Я поймал его в перекрестье. Не думал ни про угол, ни про упреждение. Руки сами. Повернул на волосок. Вдавил гашетку. Машину затрясло от отдачи, грохот ударил в самое нутро. Первая трасса легла впереди «худого» - перебрал чужой рукой. Поправил. Вторая легла куда надо. По мотору, по кабине, распорол фонарь. «Худой» дернулся, качнулся, плюнул из-под капота черным, потом рыжим - и повалился на крыло. Кувыркнулся. Пошел вниз, разматывая дымный хвост к самой земле. Сбил. Второй раз в жизни -

и первый по-настоящему свой, не на голом автомате первой чужой секунды. Меня захлестнула дурная легкая радость, аж заорать захотелось в эфир. И тут я едва не сглупил. Внизу, под собой, увидел того первого, с желтым коком. Он выходил из пикирования, подставлял брюхо, беззащитный на выходе. И меня будто под локоть толкнули: догнать, добить, взять второго за один вылет.

Руки уже пошли, машина уже клюнула носом за ним.

- Сокол!! Куда?! На место!! Голубь рывкнул так, что заложило уши.

Крик достал меня раньше, чем я провалился в пике. Я замер - на долю секунды, на один удар сердца, - и в эту самую долю секунды сверху, оттуда, куда я перестал смотреть, свалился четвертый «мессер». Тот, про которого я забыл. Тот, которого обязан был стеречь. Трасса прошла там, где я был бы, кинься я за желтым коком. Прямо там. Наискось, длинной строчкой. Я рванул машину вверх, к Голубю, задыхаясь, чувствуя, как колотит сердце в самое горло. Встал на место. За иголкой ниткой. «Худой» проскочил, не достав - я успел впритык, на самом краю.

- Живой? - голос Голубя злой, но уже спокойнее.

- Живой.

- Смотри верх. За мной.

Дальше я смотрел верх так, что глаза заслезились. «Мессеры», потеряв одного и не сумев продавить наш эшелон, покрутились еще пару минут, огрызнулись напоследок и отва-

лили за реку. «Илы» свое отработали - переправа вниз горела, дымила, понтоны расползались по течению, и делать «худым» тут стало нечего.

Мы проводили их до кромки и легли на обратный курс. Садись по одному, пыля на пробеге. Я зарулил в капонир, заглушил мотор - и только тут почувствовал, что весь мокрый, гимнастерка липнет к спине, пальцы чуть подрагивают. Кондрат уже лез на крыло, откидывал фонарь.

- Ну? Цела ласточка?

- Цела. Один есть.

- Слыхал уже, по эфиру. - Он оглядел меня, хмыкнул. - А чего белый?

Я не ответил. Сполз с крыла, встал на землю. Она держала - твердая, надежная. Хорошо. Голубь подрулил следом, вылез, стянул шлемофон. Пошел прямо на меня. Я подобрался - сейчас разнесет, и по делу. Он подошел вплотную. Помолчал. Достал кисет, свернул самокрутку - неторопливо, обстоятельно, будто меня тут и нет. Прикурил. Затянулся.

- Сбил чисто, - сказал наконец, глядя в сторону, на дымный горизонт над переправой. - Довернул грамотно, очередь положил куда надо. Со второго раза, правда. - Затянулся еще. - А потом чуть не сдох как последний дурак.

- Я...

- Молчи. - Он повернулся, и глаза были уже не злые, а усталые. - Ты второго увидел и захотел взять. Азарт. По молодости у всех так. У кого проходит - тот живет. У кого не

проходит - того я в жестяную коробку к Гурееву отношу. Понял меня?

- Понял.

И на этот раз понял по-настоящему. Тем местом, где секунду назад должна была лечь чужая трасса.

- Хвост стеречь скучно, - Голубь сплюнул, растер сапогом. - Славы нет, ордена не дают. Зато ведущий домой возвращается. И ты вместе с ним. - Он вдруг усмехнулся, одним углом рта. - А целишь ты хорошо, стервец. Со мной полетаешь.

И я стоял мокрый, выжатый, только что чудом не убитый по своей же дурусти, а внутри все равно подпрыгнуло.

- Спасибо.

- Рано благодаришь. - Он затоптал окурок. - Со мной летать - не мед. Спрошу за каждый заход. Начнешь опять героизмствовать - верну в резерв, будешь Кондрату ключи подавать до конца войны. Ясно?

- Ясно.

Он кивнул и пошел на КП докладывать.

А я остался у машины. Кондрат с крыла, глядел без усмешки. Понял, видно, по разговору, чего мне стоил этот вылет.

- Слазь оттуда, - сказал я. - Радиатор твой держит.

- А то. - Он все-таки усмехнулся, спрыгнул тяжело, крикнул. - Держит, покуда ты его в пикировании не рвешь. Порвешь - обратно не приму.

Я устало, но по-настоящему, засмеялся. До вечера выпал

ло затишье, и полк им воспользовался с толком. Первым делом - сон. Кузьмин завалился прямо на чехлах в тени капонира, надвинул пилотку на глаза, отрубился по-фронтовому. Двое из его звена пристроились рядом. Я тоже прилег было на травку у машины, закрыл глаза. Вынырнул от того, что Кондрат тронул за плечо. Показалось - минута. Оказалось, все двадцать. Мы с механиком лишний раз осмотрели мой ЛаГГ, убедились, что все в порядке. Выглядело это так, будто он себе приемника готовит. Надеюсь, до этого не дойдет.

К вечеру объявили: топят баню. После такого дня - награда не хуже медали. Печурку раскочегарили с запасом, и когда старшина зачерпнул ковшом из чугуна и метнул на каменку, воздух будто лопнул. Я охнул и полез на нижний полук, где помилосерднее. Лукин сидел выше лупил себя веником по лопаткам и приговаривал что-то бессвязно-блаженное. И вот тут меня наконец отпустило. Та секунда над переправой, когда трасса прочертила мимо крыла, ушла куда-то вглубь, притупилась. Я привалился спиной к бревенчатой стенке и просто дышал. Выбрались из парилки красные и с гудящими ушами. И тут же взялись за ведра: раз дали горячую воду, грех не постираться. Я застирал подворотнички, пропотевшую насквозь нижнюю рубаху, портянки.

Мыло на всех было одно, и мы гоняли его по кругу, как драгоценность - каждый норовил не измылить лишнего. Оттер, отжал, развесил на бечевке меж капониров. Белье захлопало на ветру, к ночи подсохнет. Чепуха на первый взгляд. А

наденешь наутро чистое, пропахшее ветром - и день начинается чуть по-человечески. Ерема принес «Красную звезду», уже потрепанную. Развернул бережно, будто письмо.

- У Симонова вот еще нашел, - сообщил с гордостью, точно сам сочинил. - «Если дорог тебе твой дом...». Слыхал?

А тут это были новые стихи, и переписывали их наперегонки. У половины летчиков в планшетах лежали самодельные блокнотики из тетрадных листов, из оборотов сводок. И в них карандашом переписана классика военных лет.

Хоть эти слова и имели теперь иной смысл, я часто записывал себе лишь отдельные фрагменты. Так и тут я выбрал лишь пару строф, 15 и 16.

- Ты складно пишешь, ровно, - заметил Ерема, заглядывая через плечо. - У меня-то каракули. Дашь потом глянуть, что у тебя есть?

- Да.

Кондрат тем временем принес обещанный напильник. Уселся на чурбак, пристроил осколок на колене, показал, как снимать кромку - не спеша, чтоб не сколоть.

- Мундштук резать умеючи надо, сверлить.- ворчал добродушно. - Для начала гребенку сделай. Или колечко. Девке своей пошлешь, коли есть.

Любимой у меня не было - ни здесь, ни там. Но очень уж хотелось заняться чем-то обыденным, да и просто поработать руками. Стекло поддавалось тяжело, кромка белела под зубьями, ложилась стружкой на колено. Работа тихая, мир-

ная, оттого и хорошая. Я скосил глаз на Клави́ну гребенку с вензелем, на портсигар, что крутил в руках комэск. Все это когда-то было чьим-то фонарем.

А теперь лежало в наших карманах, гладкое, обточенное, ручное. Дурацкая гордость. Вечером в хате разбирали вылет. Не Батя - сами, как оно всегда у летчиков, когда КП уже отчиталось, а душа еще не остыла. Кузьмин чертил пальцем по столешнице - показывал, как «худые» заходили снизу и как он их встретил. Ерема таращился, время от времени вставляя «а я!». И то верно, он помог сегодня Кузьмину достать одного. Про меня Голубь сказал коротко:

- Сокол одного завалил. Прикрыл меня грамотно.

И все. Ни про то, как я едва не провалился за желтым коком, ни про четвертого. Я поймал через стол его взгляд, и он как бы сказал «это между нами, разбирать я это буду с тобой, а не при всех». Я кивнул. Мужики загалдели, кто-то хлопнул меня по плечу «Наш салага растет!».

Нам всем нужно было выпустить пар, и ребята еще долго смаковали подробности вылета. Сегодня все сели живыми. Но, когда разговоры стихли, традиционно помолчали в память о тех, кого ранее потеряли.

Часть наших вышла наружу. Кто хмуро закурил, кто просто смотрел в небо, словно наслаждаясь его безмятежностью. Голубь сидел, дымя самокруткой, в стороне на ящике. Он поймал мой взгляд и чуть заметно кивнул. Я понял, экзамен сегодня сдал. И дело было не в сбитом враге, а в той секунде,

когда замер, услышав крик, и не полез за славой. Круги затемно все равно придется нарезать - взлет еще не тот. За окном уже синело к ночи. На дальнем краю поля Кондрат гонял на пробу чей-то мотор. На колене у меня лежал недоделанный кусок оргстекла, обточенный наполовину. Завтра опять с рассветом. А пока можно было сидеть, слушать и ни о чем не думать. Хоть уже и не было нужды строить из себя шпиона и мотать на ус полезные сведения, я все еще по инерции больше наблюдал. Чем больше я впитаю истории этих людей, их мысли, тем прочнее вращу в эту реальность. Любой намек на тоску по родному миру лучше гасить в зародыше. Витать в облаках и упиваться жалостью к себе – непозволительная роскошь.

Глава 6

Утро выдалось нелётное.

С запада натянуло низкую хмарь, поле раскисло за ночь, и Батя, глянув на небо, махнул рукой - сидим. Редкий подарок. Полк выдохнул, растёкся по стоянкам и хатам, и аэродром впервые за много дней загудел не моторами, а человеческими, домашними делами.

Я этому дню обрадовался, как школьник отмене контрольной. Взлёт мне ставить в такую грязь не выйдет, круги нарезать негде - значит, можно просто жить. Странное это было слово применительно к тому, что со мной творилось, но другого я не подобрал.

Кондрат с утра колдовал над мотором соседней машины - своя стояла вылизанная, а руки у него не отдыхали никогда. Я подсел рядом, подавал, светил, придерживал. Дело знакомое, привычное уже до того, что руки шли сами.

- Слышь, командир, - сказал он, не поднимая головы, - письмо тебе снова.

- Откуда знаешь?

- Гуреев с утра спрашивал, где Соколов. У него для тебя всегда одно.

Я нашёл Гуреева у КП. Он рылся в брезентовой сумке, раздавал треугольники по звеньям - кому два, кому ни одного, и по лицам было видно, кому что.

Один сержант из пополнения отошёл с письмом за капо-
нир и долго не возвращался. За ним никто не пошёл.

- Держи. - Гуреев протянул серый треугольник. - От матери. Аккуратная она у тебя, каждую неделю пишет.

Мать. Не моя - Соколова. Я уже привык думать о ней так, будто она и вправду моя, и от этого делалось мутно.

Отошёл, развернул. Тот же старательный округлый почерк. В хозяйстве все в порядке, отец почти поправился, соседка передаёт поклон. И под конец, обязательное: «пиши, Коленька, сердце не на месте». Всегда одно и то же, и всегда - как под дых.

Я сложил листок, сунул в карман. Вечером отвечу. Начальство хвалит, врага бьем, и все со мной хорошо. Складные, ровные строчки, за которыми почти ни грамма правды, только та единственная правда, что нужна ей: сын жив. Пусть думает, что жив.

- Чего смурной? - Кондрат, когда я вернулся, глянул искоса. - Дома неладно?

- Порядок дома. Огород взошёл.

- Ну и слава богу. - Он подтянул хомут, крикнул. - Огород - это дело. Огород взошёл - значит, будет что зимой в котелок кинуть.

К полудню распогодилось наполовину - хмарь поднялась, но летать всё равно было нельзя. По раскисшему полю не сильно-то разгонишься.

Кто спал, кто латал сапоги. Небольшая компания резалась

в домино на ящике. У крайнего капонира Лукин растянул гармонь. Не пел ещё - перебирал, нащупывал мотив. Подтягивались, рассаживались вокруг. Ерёма примостился под боком у Ваньки, заглядывал ему в руки, как в раскрытую книгу. Кто знает, не будь всего этого, может Ерёма и стал бы тоже музыкантом, и разлучаться с любимой бы не пришлось.

- «Тёмную ночь» давай, - попросил кто-то.

- Рано ей, - отозвался наш музыкант. - Она вечерняя. Днём не идёт.

Взял другое, плясовое. Двое молодых пошли было притопывать, дурачась, старики посмеивались. Я сидел с краю на катушке из-под кабеля и смотрел на них.

Свои. Чужие ещё месяц назад, а теперь свои. Лукин с гармонью, Ерёма такой отзывчивый и светлый, Кузьмин, спящий вполглаза в тени. Кондрат. Голубь где-то на КП. Я знал уже, кто как ходит, как смеётся, у кого какая присказка. Знал, что Ванька перед вылетом трижды сплюнет через левое плечо, а Кузьмин никогда не бреется в день боевого - примета.

Знал, что Ерёма пишет девушке в Куйбышев и стесняется так, что уши горят. Я знал их. А они не знали меня. Настоящего - не знали и знать не могли.

- Сокол, а ты чего молчком? - Ерёма обернулся. - Спой чего.

- Не умею.

- Все умеют.

- А я нет.

- Оставь его, - вступился Лукин. - Не всякому голос дан. Ты, Ерёма, вон поёшь как кот на заборе, а лезешь.

Ерёма надулся для виду, тут же прыснул. Ванька повёл опять про синий платочек. Похоже она у гармониста самая любимая, хотя и не только у него. Наши подхватили в несколько голосов слегка вразнобой. Я как ни странно тоже зашевелил губами.

Вот так-то получается - только теперь я почувствовал настоящую жизнь в этих строчках, глядя на лица, полные надежды и тихой грусти. Сидел на раскисшем поле сорок второго года, среди людей, половина которых до Сталинграда не доживёт, и горло сдавило.

После обеда прошёл слух: Батя собирает на разбор. Разбирали не сегодняшний - сегодня не летали - а вчерашний вылет, тот, с прикрытием переправы. КП уже отчиталось, но Батя любил пройтись по бою сам, при всех, чтоб наука шла в народ, а не оседала в бумагах.

Собрались в большой хате. Расселись по лавкам, кто на полу, кто привалился к стене. Батя встал у стола - на нём лежал разграфлённый лист, по нему он мелом чертил заходы. Рядом присел Голубь, курил.

- Ну. - Батя обвёл нас глазами. - Вчера сходили неплохо. «Илы» отработали, переправу разбили, своих привели всех. Один сбитый на нас, один на Кузьмина. - Он помолчал. - А теперь по делу. Кузьмин, доложи, как «худые» заходили.

Кузьмин доложил - сверху справа, из солнца, парами. Батя чертил, кивал, переспрашивал. Разобрали, кто где стоял, кто кого прикрывал. Дошло до нас.

- Голубь. Твоя пара. Ты верх брал.

Голубь встал, рассказал коротко. Как свалил лобовую, пропустил ведущего, как ведомый кинулся следом и как Сокол его снял. Ровно, без прикрас - и без того, чтоб меня выпятить. Снял ведомого, прикрыл грамотно.

Батя повернулся ко мне.

- А доверни-ка мне это, лейтенант. Как ты его брал.

Вот оно. Я поднялся. В хате стало тихо - не враждебно, а внимательно, лётчики любят чужую науку, если она к делу.

- «Худой» висел у ведущего на хвосте, - сказал я. - Тянул трассу. Я довернул с превышением, взял упреждение и дал очередь. Первую перебрал, вторую положил по мотору.

- Упреждение как считал?

Опасный вопрос. Не потому, что я не знал ответа - знал слишком хорошо, назубок, так, как тут ещё не считали - а потому, что ответить надо было по-здешнему, а не по-курсантски из будущего.

- Не считал, товарищ капитан. - Я пожал плечами. - Глазом. Вижу, куда он идёт, куда я иду, и веду ствол наперёд, чтоб сошлись.

- Глазом, - повторил Батя.

- По ощущению. Как... - я поискал слово поживее, попроще, - как в бабки играть. Не рассчитываешь, а чувствуешь,

куда бита ляжет.

По хате прошёл смешок - сравнение зашло. Батя усы не растянул, но глаз у него потеплел.

- В бабки, - хмыкнул он. - Слыхали? Он мессера в бабки бьёт. - И тут же серьёзно: - А вертикаль откуда взял? Ты за Голубём на вертикаль полез так, будто всю жизнь на ней дрался. У нас полк полгода на неё переучивался. А ты - с двух вылетов.

Холодок под гимнастёркой. Я поднял руку к затылку - привычный жест.

- Не знаю, товарищ капитан. Летишь и знаешь, куда надо. А спросите, откуда знаю, - не отвечу.

Батя пожевал губами. Посмотрел на меня долго, тем своим взглядом, что просвечивал насквозь. И я не знал, чем это кончится. Вроде он уже видел, что в воздухе я двигают отлично, мог бы и перестать докапываться. Но, видно, хотел, что все это слышали.

- Бывают такие, - сказал он вдруг, и не мне, а в хату. - Самородки. Редко, а бывают. Иной академию кончит, а в небе полено поленом. А другой от сохи, грамоте едва учён, а сядет в кабину - и всё при нём, будто с этим родился. - Он ткнул мелом в мою сторону. - Соколова нашего перед грозой мямлей помнили. А приложило башкой - и словно отперло что.

- Контузия, - солидно поддакнул кто-то с лавки. - У нас в тридцать девятом мужика тряхнуло - он по-фински заговорил, отродясь не знал.

- Ну, по-фински наш вроде не лопочет, - под смех отозвался Батя. - А летать выучился заново, и лучше прежнего. Пусть. Нам такие нужны.

И всё. Самородок. Списали на голову - так, как я и надеялся, только лучше: не с подозрением, а с уважением.

Я стоял, держал лицо, а внутри отпускало.

- Только вот что, Сокол. - Батя прищурился. - Талант талантом, а вчера ты за жёлтым коком чуть не сунулся. Голубь тебя окриком с того света вернул.

Значит, Голубь всё-таки доложил. Не при всех вчера, а Бате с глазу на глаз, как положено. Я глянул на Голубя. Тот смотрел в пол, курил, ни один мускул не дрогнул.

- Виноват, - сказал я. - Азарт.

- Азарт, - Батя кивнул. - Азарт хорошего лётчика в землю кладёт быстрее, чем немец. Запомни, и все запомните. Сбил - уходи. Не добивай, не догоняй, не любуйся. Живой домой - вот твой орден. Понял?

- Понял.

- Садись.

Я сел. Ерёма толкнул меня локтем, шепнул восхищённо: «Самородок, слышал? Это ж про тебя!» - и сиял так, будто самородком объявили его самого.

К вечеру распогодилось совсем. Хмарь ушла на восток, небо промылось, и над полем встали чистые холодные звёзды. Летать поздно, а завтра, похоже, будет лётный день - Кондрат уже ворчал, что с рассветом опять погонят, а машина у

Кузьмина недобрана.

Ужинали не спеша. Фронтовые в этот раз не давали, но старшина расщедрился на лишний чай с сахаром, и то ладно.

После ужина я сел за письмо матери. Вырвал листок из блокнота и собрался с мыслями. «Здравствуй, мама. Жив-здоров, у нас тут все хорошо...». Ведь на самом деле я же пишу правду. Да, она думает, что это про ее сына, но по факту и в моральном плане я уверен, что поступил праивльно.

Рядом Ерёма пыхтел над своим - в Куйбышев, девушке. Писал долго, зачёркивал, краснел, грыз карандаш.

- Слышь, Сокол, - не выдержал он. - А как правильно: «крепко жму руку» или это по-казённому выходит? Ей же не руку...

- А ты чего написать хочешь?

- Ну... - он совсем побагровел. - Что жду. Что вернусь.

- Так и напиши. Жду. Вернусь. Чего мудрить?

- Просто так? - Он посмотрел с сомнением. - Голо как-то.

- Не голо. - Я вспомнил те строчки из зачитанной «Красной звезды», что перечитывал позавчера при коптилке. - Проще не бывает, чем «жди меня, и я вернусь», но ты же не думаешь, что это примитивно.

Ерёма кивнул и склонился над листком. Я вернулся к своему. За стенкой Лукин все еще не унимался со своей гармонью. Пожалуй, под музыку даже проще писать.

Ночь опустилась быстро, по-южному. Разошлись по хатам поздно. Я лёг, закинул руки за голову, слушал, как за стеной

кто-то ворочается, как поскрипывает под ветром плохо прибитая доска на крыше. Завтра затемно вставать. Круги нарезать, если поле подсохнет. Служба.

Заснул, кажется, сразу. Разбудил меня не сигнал. Что-то в самом воздухе было не так.

Далёкий, чужой звук мотора. Не наш - я уже отличал на слух. Наши гудели ниже, гуще. А этот шёл тонко, надрывно, с чужим подвыванием, высоко в чёрном небе, кружил где-то над станицей.

Я сел на койке. За окном - темень, только звёзды. И этот звук.

- «Ночник», - сказал в темноте чей-то голос. Кузьмин, кажется. - Ходит, зараза. Разведчик или бомбить пришёл.

Хлопнула дверь. Забегали. Со двора донеслось:

- Дежурное звено - на вылет! По машинам!

Я вскочил, натянул сапоги на босу ногу, комбинезон и вылетел в ночь. Холод хлестнул по лицу, разом прогнал сон. Над полем метались тени, кто-то тащил к машинам аккумуляторную тележку, кто-то уже сдёргивал чехол.

Голубь был у своей машины - застёгивался на ходу, злой, встрёпанный.

- Сокол! - рявкнул он, увидев меня. - Со мной. Ночью хоть раз летал?

- Нет.

- Значит, сегодня научишься. За мной как приклеенный. Потеряешь меня - садись по посадочным огням, не герой-

ствуй. Понял?

- Понял.

Ночного полёта я боялся. Днём небо - холст, ясно видно, кто какие штрихи выводит, и сам знаешь, что делать. А сейчас это чёрная дыра, где земля и небо сливаются, легко перевернуться и не понять этого. Нас, конечно, учили, но по приборам, на тренажёре. И уже тогда я содрогался от мысли оказаться во тьме.

Кондрат вырос рядом, откуда ни возмись, помог с парашютом, дёрнул лямку, проверил.

- Держись за огни, - бросил коротко. - И за Голубя. Он ночью как кошка.

Я влез в кабину и запустил мотор. Приборы засветились тускло, циферблаты еле видно. Голубь уже выруливал, я за ним, ловя в темноте его выхлопные патрубки - синеватые язычки пламени, единственный ориентир.

Взлетели по узкой полосе посадочных огней - три фонаря «летучая мышь», выставленных вдоль поля. Оторвался я чисто - то ли выучка Батина взяла, то ли в темноте некогда было думать телом, работал головой, по прибору. Скорость по стрелке - тяни.

Оторвался. Убрал шасси. Земля пропала совсем, будто её и не было. Остались только приборы да синие огоньки впереди - Голубь.

- Идёшь? - в наушниках его голос.

- Иду.

- Смотри на меня. Больше никуда. Верх ищу я.

Мы полезли вверх, в черноту. Чужой мотор выл где-то над нами и левее - «ночник» ходил кругами, не зная ещё, что подняли перехват, или зная и не боясь. Голубь тянул на него, набирая высоту, а я держался за его выхлопы, за эти два синих язычка, и это было всё моё небо - два огонька в бездонной тьме.

Земля дала знать о себе - по станице ударил прожектор. Голубой столб вспорол темноту, зашарил по небу, ошупывая. Второй встал рядом. Заметались, скрестились - и поймали. В перекрестье, в дрожащем голубом свете, повис он - тонкий, двухмоторный, с длинными крыльями. Разведчик. Шёл ровно, нагло.

- Вижу, - выдохнул Голубь. - Держись, Сокол. Захожу.

Прожекторы вели цель, и Голубь пошёл на неё из темноты, снизу-сзади, из мёртвой зоны. Я тянулся следом, задыхаясь от перегрузки и от того, что земли под нами не было вовсе, одна чернота.

«Ночник» рос в голубом свете. Стрелок его заметил Голубя поздно - сверху потянулась к нам жидкая трасса, красные шарики поплыли мимо, левее, не достали. Голубь довернул. Короткая злая очередь - я видел, как его трассы уткнулись в тёмное крыло, в мотор. Раз, другой. От левого мотора «ночника» плеснуло рыжим. Он качнулся, завалился, потянул вниз, разматывая огненную нить, и прожекторы вели его до самой земли, пока он не ткнулся где-то за станицей, за

рекой, вспухнув коротким оранжевым цветком.

- Готов, - сказал Голубь. Спокойно, буднично. - Домой, Сокол. По огням.

Обратно я шёл за ним, вымотанный так, будто сутки не спал. Посадочные огни выплыли из темноты тремя жёлтыми точками. Голубь сел первым, я за ним - по прибору, по счёту, не веря телу, доверяя только стрелке и глазу. Коснулся. Покатился. Встал.

Тишина. Мотор на малых. Сердце в самом горле.

Кондрат уже бежал к машине, лез на крыло.

- Живой?

- Живой.

- А чего белый опять?

- Ночь, - сказал я. - Земли не видать.

- То-то и оно. - Он спрыгнул, крякнул. - Ночью летать - это тебе не

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.